

Б. ОЛЕВСКИЙ • НАЧАЛО ЖИЗНИ

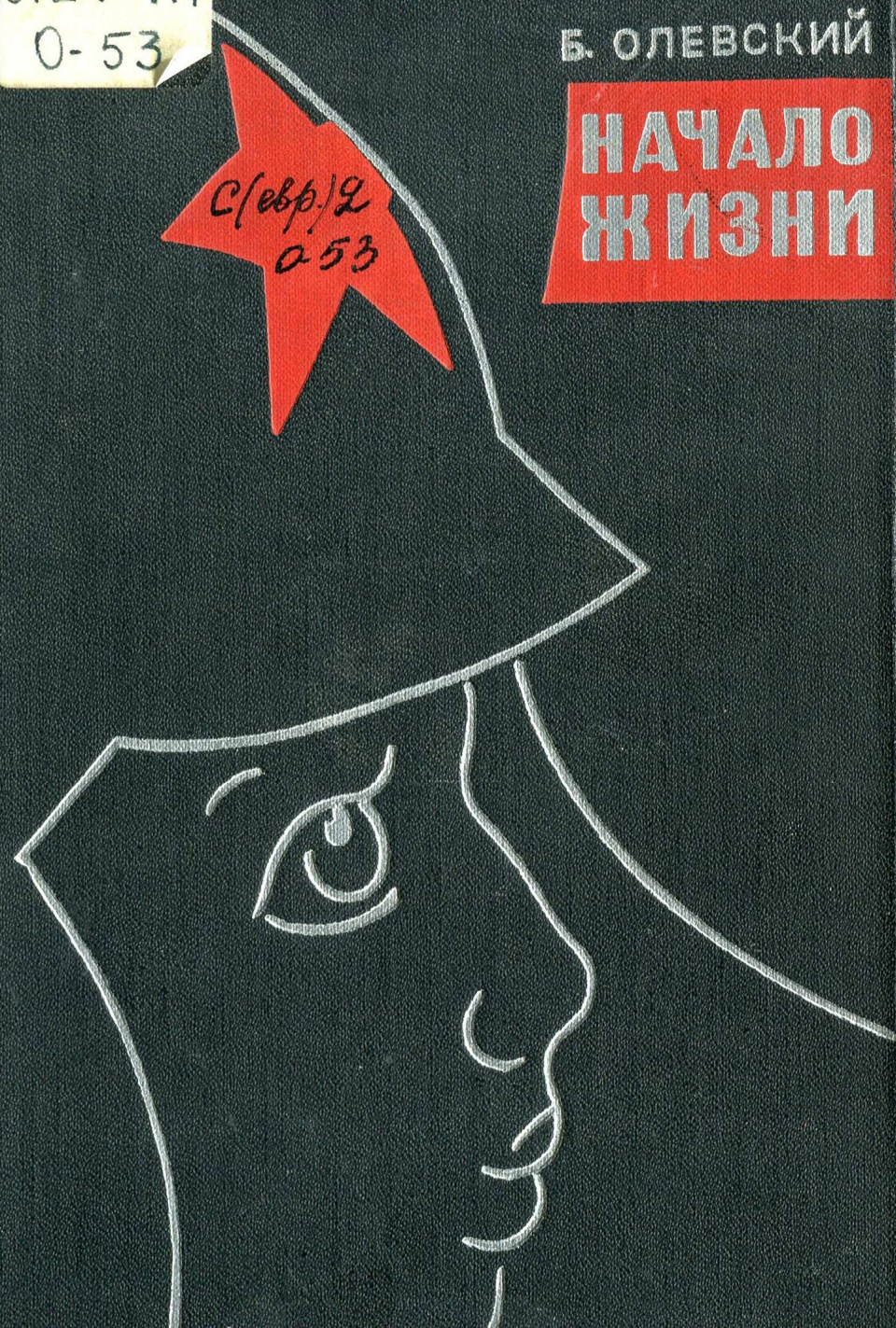
84Е7-444

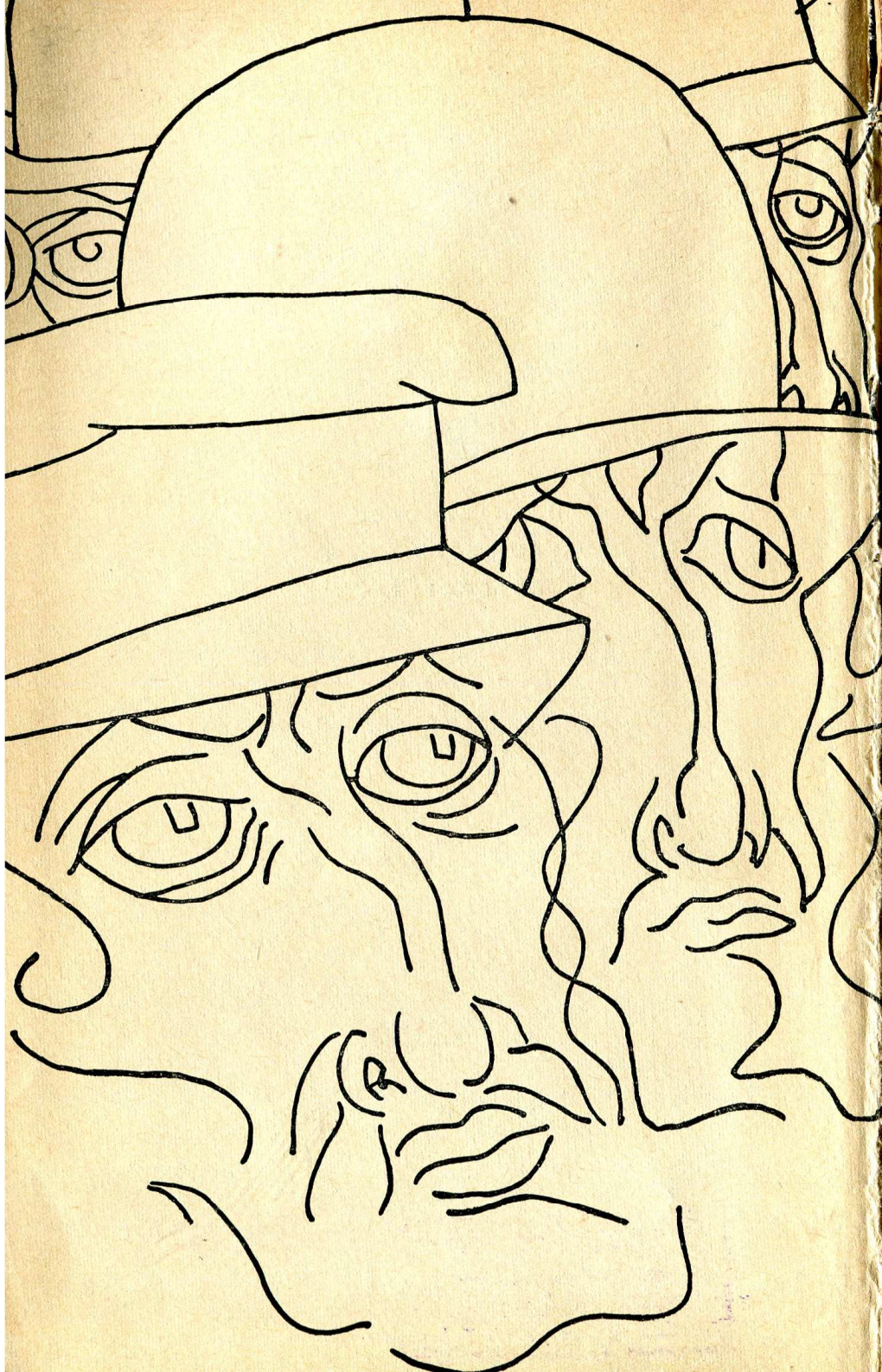
0-53

С(евр.)2
0-53

Б. ОЛЕВСКИЙ

НАЧАЛО
ЖИЗНИ





84.E7-444
✓✓✓✓✓
Б. ОЛЕВСКИЙ

Начало Жизни

П О В Е С Т Ъ

Перевод с еврейского
Л. ЮДКЕВИЧА

Дальневосточная
районная библиотека

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1967

Библиотечная
Бирюбинская областная
научная библиотека
им. Шолом-Алейхема
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

465244

59966

10662

Вступительная статья
М. БЛИНКОВОЙ

Художник
Ф. МУЛЛЯР

ПОВЕСТЬ РАДОСТНОГО СЕРДЦА

Горячей любви в моем радостном сердце
так много!
Ее для меня собирала в страданиях мать.

Борис Олевский

Автор повести «Начало жизни» Борис Абрамович Олевский родился в 1908 году. С Великой Октябрьской революцией и гражданской войной были связаны его первые самые сильные жизненные впечатления. «Детство окрасило всю его жизнь,— рассказывал об Олевском его друг Эммануил Казакевич,— как и жизнь других писателей его поколения, в цвета революционной романтики».

Маленький герой повести «Начало жизни» и его друзья поставлены в те же жизненные обстоятельства. Им не нужны были для игр ни казаки-разбойники, ни рыцари из сказок — они играли в своих старших братьев и соседей. И их человеческий идеал был рядом — комиссар с настоящим оружием, отважный и справедливый. Не выходя за порог своей повседневной жизни, они, эти ребята, могли насытить извечную мальчишескую жажду подвига, романтики, необычности и опасности. Счастливые, полные веры и надежд, они были одновременно терпеливы и азартны; терпения у них хватало на то, чтобы переносить голод, самые разнообразные житейские трудности, но безучастно ждать прихода мировой революции они не были согласны. Узнав как-то о том, что в далекой Африке живут угнетенные белым «петлюровцем Джимом» негры, они немедленно пишут им прочувствованное письмо, уговаривая их убить «царя», устроить «мировую революцию», и посылают это письмо с аистом «в Африку».

Ощущение своей причастности к огромному миру, своего непосредственного участия в грандиозных делах наполняет счастьем

юного героя повести. Впрочем, Ошер вообще был удачлив. Подумать только, сколько всяких бед выпало на его детскую долю: погром в местечке, голод, тиф, драка с бандитами, а он не только уцелел, но и сохранил замечательную жизнерадостность, активность, и, когда революция распахнула ворота в новую, свободную жизнь, он не вошел, а вбежал в нее — с восторгом, с благодарностью, готовый за нее на драку, на скандал, на любой труд, на подвиг, на смерть.

Борис Олевский рассказывает о своем юном герое любовно и с простодушной, веселой беспощадностью. А как еще можно рассказывать, если ничего не утаивать, о том поразительном мире, который являет собой мальчишеская душа?

«Я лежу под одеялом и сгораю от нетерпения. Скорей бы уж настал день. Сразу побегу к тете Ите и скажу ей: «Тетя Ита, твой Ньюма убит на войне!»

Что это — жестокость? Придурковатость? Олевский не вступает в прямые объяснения по этому поводу. Да они и не нужны нам, — мы вместе с Олевским хорошо понимаем, в чем тут дело: детское воображение еще не приемлет трагедию смерти, да еще связанную с романтическим для него словом «война».

Вместе с тем в чем-то ребенок может быть и хитрее и оборотистее, чем о нем думают взрослые. У него есть природные, стихийные актерские данные, и ему ничего не стоит пустить их в ход тогда, когда он вынужден подчиняться нормам поведения, внутренне для него чуждым. Скажем, притвориться плачущим, когда — хоть убей! — не плачется, а плакать необходимо, потому что умирает дед. Или как-то очень натурально спекулировать на этом же горе — ведь совсем неплохо живется человеку, если окружающие жалеют его. Очень точно когда-то сказал об этом любимец Шолом-Алейхе-ма, заставивший смеяться и плакать М. Горького, мальчик Мотл: «Мне хорошо — я сирота!» Кстати, читая повесть об Ошере, нет-нет да и вспомнишь мальчика Мотла. Очень уж схожи они между собой ключом будущей энергии и неумением сосредоточиться на грустных сторонах жизни. И рассказано о том и о другом любовно-иронически, весело и лирично.

На наших глазах проходят несколько лет жизни Ошера. За это время он взрослеет, умнеет, делается серьезней. А поначалу он мог в чем-то показаться нам даже глупее, чем положено было быть в его возрасте. И это не удивительно: в голове бойкого мальчишки самым хаотическим образом уживались и призраки из «той» жизни — жизни черты оседлости, хедера и странных обрядов, — и четкое, правильное видение мира. В общем, он, Ошер, ничем не отличался от других подростков: так же, как большинство из них,

важничал перед своими родителями, стеснялся материнской ласки, был особенно груб с девочкой, которая ему нравилась. Может быть, лишь чуть ярче, чем у других ребят, проявилась у него непреодолимая потребность принимать участие во всех делах, которые происходили рядом, во все вмешиваться, радоваться всему новому. И если он кого-нибудь любил, то это была привязанность крепкая, надежная, преданная.

Жизнь свела Ошера с людьми, сумевшими направить по нужному руслу его неумную энергию, оказать большое и благотворное влияние на его мировосприятие. Первыми людьми, которым он страстно хотел подражать, которые являли для него образец мужества, воли, ума, были комиссары Магид и Велвел Ходорков. Первыми настоящими воспитателями Ошера были скромные, самоотверженные труженики революции — Голда Ходоркова, Ищенко, Бечек. Сближение это было обоюдным. «Эти парни могут горы свернуть», — говорил о подростках местечка секретарь партийного комитета Ищенко и не боялся поручать им серьезные дела. И вот случилось, что обстоятельства ставили Ошера в положение взрослого, ответственного человека, а поведение его при этом определялось детским восприятием происходящего.

Игра и реальность естественно сплелись в детстве Ошера. Потому иногда случалось, что перед наивным детским тщеславием меркла конкретно возникавшая опасность, как это случилось, скажем, при встрече Ошера с известным местным бандитом («Мне бы хотелось, чтобы все видели, как я сижу рядом с самим Исайкой»), а иногда на долю героя повести выпадало такое дело, которым мог бы гордиться и взрослый, например — произнести речь в день Октябрьского праздника на главной площади местечка. Писатель и здесь подтрунивает над своим героем, но нам передается радостное возбуждение мальчика, и мы от всей души сочувствуем его гордости, хотя он и по-настоящему комичен, когда мечется от одного своего приятеля к другому, требует, чтобы они выслушали выученную им наизусть речь, и во все горло кричит: «Товарищи члены профсоюза и кустари!..»

А как было подростку не проникнуться ощущением своей значительности, своей причастности к самым важным и нужным делам, когда он получил настоящую, платную должность — собирать подписку на газеты и разносить их!

Ошер предстает перед нами в том же буйном цветении, что и Том Сойер, и Гекльберри Финн, с той же обнаженностью своего в чем-то сложного, а в чем-то пленительно ясного внутреннего мира, но у него есть перед ними небывалое преимущество. Марк Твен видит истинные человеческие ценности — храбрость, верность

в дружбе, чистоту,— лишь в мальчишеском царстве; ничего этого нет там, где кончается детская вольница и начинается власть взрослых. Потому-то и неизбежен постоянный, иногда открытый, иногда тайный конфликт этих двух сфер, их обособленность друг от друга. А мальчишка Ошер из маленького еврейского местечка, которому было восемь лет, когда солдаты «так-таки схватили царя, раскачали и сбросили», спаян с окружающей жизнью всеми помыслами, всеми корнями души, у него с нею единый пульс, общее дыхание. Ведь его детство, пора надежд и первых достижений, совпало с революционным детством нового общественного строя. И так естественно, что он чувствует себя не только в центре великопных, грандиозных событий, но и их непосредственным участником.

Революция передала в руки тружеников в городах и промышленных центрах заводы и фабрики, в деревне — землю. На родине Ошера не было ни того, ни другого. Здесь надо было заново создавать некий жизненный фундамент для населения, не имевшего до того возможности приобщиться ни к фабричному, ни к сельскому труду.

Нищие лавочники, у которых было больше конкурентов, чем покупателей, ремесленники, у которых не было заказчиков, «люди воздуха», каким-то чудом не умиравшие от голода, должны были получить полезное занятие, надежный заработок, прочное место в жизни. А время было трудное — первые годы нэпа. Поэтому так мучительно ломали себе головы над всеми этими насущными проблемами люди, в руках которых сосредоточилась ответственность за жизнь окружающих, поэтому так близко принимали к сердцу все события в местечке и стар и млад.

Все, что было пережито местечком с начала 1917 года: смены властей, бесчинства петлюровцев, бои, пожары,— рассказано общительным и веселым Ошером, и потому предстает перед нами иногда, даже в самые страшные моменты, в юмористически смягченных тонах. «Папа,— спросил я однажды,— когда же будет погром?»

Но того же Ошера спустя несколько лет, в сцене на станции, когда он узнает о смерти Ленина, мы видим совсем иным.

«Я не заметил, как сошел с платформы и плетусь по колено в снегу. Я уже залез в яму, наткнулся на дерево в темноте. Надо мной навзрыд плачет вьюга. Ее завывание сливается с шумами паровоза. Но не метель, не глухая ночь виною тому, что я внезапно ощутил дикую пустоту. К смерти я уже привык, видал зарезанных, задушенных, застреленных, отравленных, людей на смертном ложе, но впервые до боли в сердце, до крика в глотке я почувствовал, что такое смерть.

И, обхватив дерево, прижавшись лбом к его обледелой коре, я стою во мраке под ветром и плачу».

Всевозможные бедствия, обрушившиеся за эти лихие годы на семью Ошера, его родичей и соседей, изображены в книге с живописностью художественного произведения и четкостью исторического очерка.

Пятьсот восемнадцать семей жили в местечке, в каждой была своя беда, своя скромная доля, каждая как-то по-своему воспринимала гибель казавшихся вековыми представлений и привычек.

Быт еврейского местечка, отгороженного царской Россией от нормальной человеческой жизни всевозможными законами-запретами (работать на земле, получать образование, жить в больших городах и т. д.), представлен в повести во всей своей убогости и противоестественности. Чем эфемернее, ненадежнее были здесь основы существования, тем острее возникала у людей потребность ощущения прочности, неизбежности их жизни. Но и здесь, внутри этого маленького, казалось бы, застывшего мирка, под покровом единых национальных традиций, скрывались враждебные друг другу силы, назревали свои бури. Отсюда вышли революционеры, красные комиссары, здесь хозяйничали маленькие, но крепкие предприниматели, здесь вырос бандит и убийца Исаяка, долго еще мстивший Советской власти за свои неоправдавшиеся надежды — нагреть руки в суматохе боев.

Расслоения среди жителей местечка были разнообразны, они носили, естественно, и классовый, социальный характер, и своеобразный «возрастной». Молодежь, подростки, иногда совсем еще дети,— часто именно они,— были опорой революции в местечке. У них были огромные преимущества перед старшими: их не страшили перемены, они легко, незаметно для себя расставались с теми путами и традициями, которые долго еще сковывали их растерянных родителей. Иногда здесь даже возникало нечто вроде трагедии «отцов и детей». В своем юношеском ригоризме молодежь стыдилась отцов-лавочников, забывая, что в нищете и бесправии они не уступали рабочим и что их выбор занятия диктовался вовсе не стремлением к наживе, а невозможностью устроиться иначе. В других случаях отцы, недавно еще грозные и суровые, молча признавали первенство сыновей, чем последние (Олевский рассказывает об этом в своей обычной лукавой манере) довольно бесцеремонно пользовались. «Известно,— сообщает нам Ошер,— что родители наши отстали и обязаны слушаться детей. Даже отец относится ко мне почтительно. Он не прочь со мной и побеседовать, если я только расположен».

Все общественные катаклизмы предстают перед нами образно и динамично, в разнообразии человеческих характеров и судеб. Для каждого человека, встречающегося на жизненном пути Ошера,

писатель находит свои краски, и потому общая картина получается многоцветной, яркой, впечатляющей.

Романтически грустным, любовным воспоминанием проходит через всю повесть обаятельный образ брата Ошера Ары, рано погибшего юного революционера.

Насмешливо рисует Олевский бывших лавочников, с их нищей амбицией, с уже ставшей смешной и ненужной потребностью прицениваться к товару и постоянной привычкой прибедняться. С веселым недоумением рассказывает он о добродушном, восторженном и беспотолковым почитателе науки и образованности — местном аптекаре.

Иногда портрет человека занимает лишь несколько строк в повести, а ощущение его присутствия остается надолго. Таков образ русского соседа Ошера, гончара Владимира, у которого перед погромом отец юного героя прячет жалкий семейный скарб.

Тема интернационализма звучит в повести Б. Олевского естественно, без деклараций, без специальных акцентов. Для автора, для героя повести братство трудящихся людей настолько само собой разумеется, что оно не требует никаких доказательств своей необходимости. Многозначительна в этом смысле одна из первых сцен книги. Отец Ошера справляет субботу, тщательно следя за точным исполнением ритуала. Красноармейцы, молодые парни, которых поселили в квартире Ошера, с веселым любопытством наблюдают за непонятными для них действиями, и один из них, «чубатый», просит старика дать и ему «водочки».

«Кто-то сзади оттащил чубатого от двери. Затем у порога появился небольшого роста, широкоплечий, коротко остриженный солдат в накинутах на плечи ватнике.

— Прошу прощения, гражданин! — громко сказал он. — Извините нас!.. Федор! — закричал он вдруг на чубатого, и тот стал пятиться от него. — Ведь ты в окопах гнил! Революция ведь!..»

Революция! Значит, люди всех рас и традиций должны относиться друг к другу уважительно и по-дружески. Значит, недопустимы, преступны не только насмешки над чужими, непонятными обычаями, а даже бестактно проявленное любопытство.

Революция! Это значит, что отцу Ошера и всем его сородичам «теперь совершенно некого бояться», и им даже страшно поверить в такое счастье. А Ошеру уже ничего не страшно, и, когда ему заблагорассудится, он врывается в кабинет Ищенко, секретаря парткома, человека, замученного заботами об устройстве местечковых бедняков.

Повесть о вступлении в жизнь мальчика из маленького еврейского местечка написана, на первый взгляд, скромно, непритязательно. В ней есть черты более или менее традиционные для литературы

данного жанра: линейная композиция с повествованием от первого лица, откровенная самоирония, чередование юмористического тона с героическим и романтическим.

Но есть в этой книге и собственная мелодия, обусловленная сближением, переплетением в ней двух начал — крошечного захламления, представленного нам во всей своей убогости, и огромных, небывало грандиозных дел. Достоверно, точно перенесенное писателем из жизни, это сочетание определило собой внутренний пафос произведения, весь его эстетический и нравственный строй. Свободное, широкое дыхание, устремленность в будущее, ощущение небывалого счастья — таков главный мотив этой книги.

Повесть эта автобиографична. Писатель воспроизвел в ней атмосферу своих детских лет, вступление в жизнь того поколения, детство которого совпало с самыми юными годами нового общественного строя.

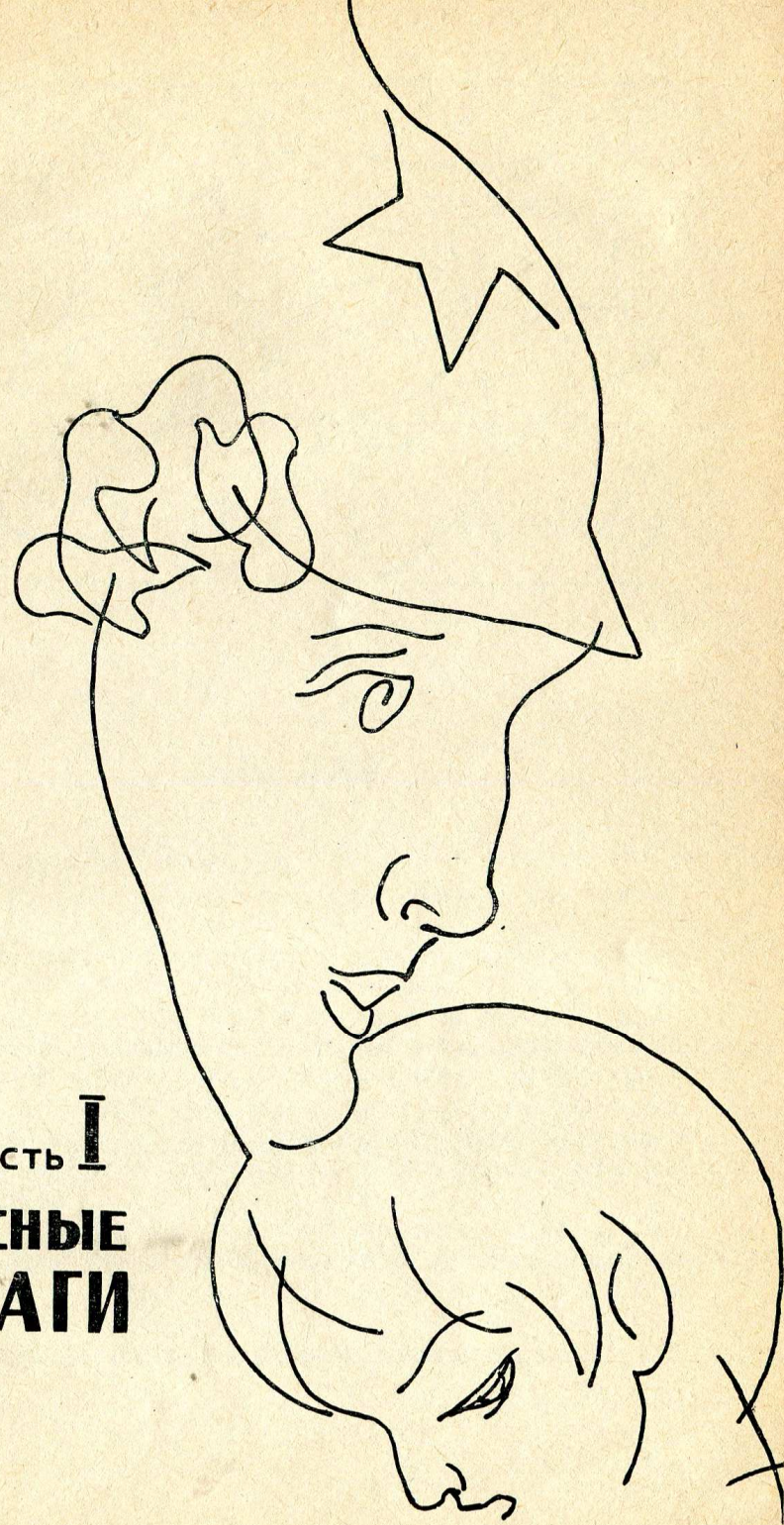
Между героем книги и автором пролегло расстояние примерно в двадцать лет (повесть была закончена в 1941 году, незадолго до войны). Эти годы были заполнены занятиями, преподаванием, путешествиями и творчеством, — при жизни Б. Олевский был известен как поэт. Он писал о гражданской войне, о великих стройках социализма, он увлекался изучением народного творчества. Стихи Олевского, человека, с самых юных лет гражданственного по своему духовному складу, были светлыми и радостными:

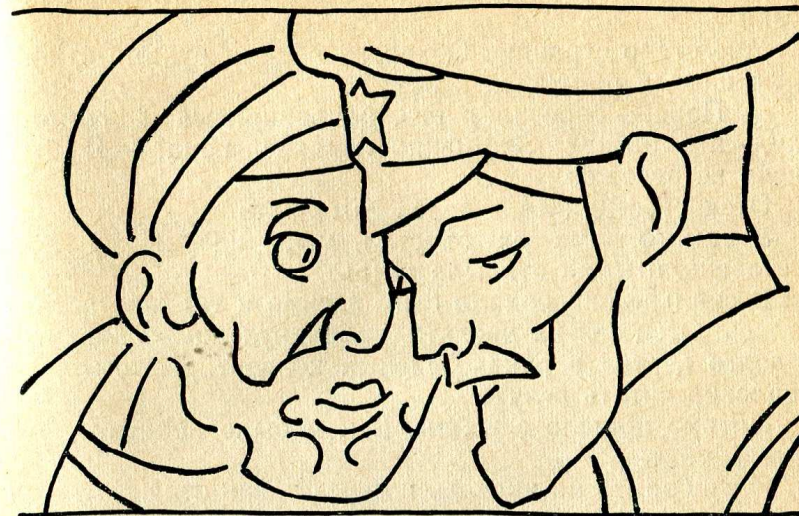
За все я благодарен вам, года!
За боль, за веру, за открытый взор,
За голову, что, знаю, никогда
Я не склоню, чтобы принять позор!

Слова эти не были пустыми заклинаниями. Борис Олевский погиб на войне с фашистами в 1941 году, жизнь его оборвалась в тридцать два года. Незадолго до начала войны он успел закончить единственное свое крупное прозаическое произведение, которое в печати уже не увидел, — предлагаемую читателю повесть радостного сердца.

М. Блинкова

часть I
**Красные
Флаги**





ПЕРЕД БУРЕЙ

Началось все с вишневки.

Я взобрался на шкаф и свалил бутылку с вишневкой, а в местечко пришли солдаты.

Я б ее, конечно, не свалил, если б кто-нибудь был дома, но, как на грех, никого в это время у нас не было.

Накануне вечером отец пришел за мною в хедер¹. Никогда никто за мной не приходил, а тут вдруг пришел отец. Он был весь в муке, усталый, прямо с работы. Был он, видимо, чему-то рад, чем-то взбудоражен. Он даже не поздоровался, а сразу взял меня на руки, пригнулся у порога, чтобы не удариться головой о притолоку, и зашагал домой.

Быстро-быстро нес он меня по грязной, темной улице. А со стороны шоссе доносились голоса: там шли солдаты. Солдат я, правда, не видел. Я только слышал, как

¹ Хедер — начальная еврейская религиозная школа.

топают они в темноте, как ржут кони и громяют по-возки.

Мне стало страшно. Обхватив обеими руками отцовскую шею, я прижался к нему.

— Папа,— спросил я его, наклонившись к самому уху,— это война? Это филистимляне, папа? — Я был очень встревожен.

Отец рассердился и велел замолчать.

У самого дома он опустил меня наземь, стукнул в ставень, и мама открыла дверь.

В спальне она подала отцу письмо и тут же расплакалась. Отец сел на кровать, придвинул лампу поближе и долго вертел в руках зеленый конверт. Потом стал медленно читать вслух.

Письмо пришло с войны. В нем было написано, что Ньюма убит.

Я взобрался на кровать и через плечо отца заглянул в бумажку. Но отец рассердился, как будто я был виноват в том, что убили Ньюму.

— Я, кажется, сказал — спать! Не суй свой нос, куда не следует!

Но мама не любит, чтобы отец кричал на меня. Когда у нас случается что-нибудь неприятное, отец становится злой, а мама, наоборот, делается еще добрее.

Мама берет меня на руки, целует и укладывает спать. Но спать мне не хочется. Я лежу под одеялом и все слышу. Я, например, хорошо слышу, как отец наказывает маме:

— Только не болтать! Ни слова Ите о письме!.. А то ведь у вас, женщин, длинные языки! — начинает он вдруг кричать на маму.

Я очень доволен, что отец запретил маме болтать. Лучше я сам все расскажу Ите.

Ита — моя тетя, Ньюма — ее сын, а письмо это адресовано тете Ите.

Я лежу под одеялом и сгораю от нетерпения. Скорей бы уж настал день! Сразу побегу к тете Ите и скажу ей: «Тетя Ита, твой Ньюма убит на войне!..»

Обычно по пятницам рано утром, едва продрал глаза, я кричу:

— Мама, где мой поскребыш?

Но сегодня у нас тихо. Ни поскребыша, ни мамы, ни папы! Я очень не люблю, когда в доме тихо и никого нет. Выпачканный в муке отцов пиджак висит на гвозде. Видно, отец на мельницу не пошел. И печь не топлена. И в доме полумрак — ставни закрыты. Только в спальне светло. Там ставень нет.

Я стою на кровати, надеваю свои коротенькие сатиновые штанишки с лифчиком и тру глаза. Я бы даже заплакал, но раз никого нет, мне не плачется.

Выскакиваю в кухню, хочу выйти на улицу, но мама заложила дверной пробой палочкой.

Однако сидеть без дела я не могу. Не взобраться ли мне на шкаф? Все самое сладкое и вкусное стоит у нас на шкафу: все горшки с вареньем, все бутылки с наливкой. Они стоят там годами. Варенье засахаривается, начинает играть, покрывается плесенью.

Пододвинув к шкафу табуретку, я взобрался на нее и протянул руки, но ничего не получилось. Только взгромоздив на табуретку скамейку, я увидел глиняные горшки, покрытые бумагой, и обвязанные тряпицами стеклянные банки. Но самой лучшей, самой большой была зеленая пузатая бутыл с вишневкой, — она прямо-таки подпирала потолок.

Я приподнялся на носки, ухватил бутылку обеими руками и с трудом оторвал ее от шкафа. И тут я точно приклеился к ней, ни обратно поставить, ни слезть не могу. Как назло, попалась табуретка, у которой одна ножка короче других. Стою, покачиваясь взад-вперед.

Вдруг табуретка так шатнулась, что я обеими руками ухватился за карниз. Послышался глухой треск, и моя бутылка, точно прирезанная, стала истекать на полу густой красной вишневкой.

Я б, конечно, испугался насмерть, если б не вспомнил о кошке. Наша толстая серая кошка частенько выручает меня. Ее уж не раз из-за меня лупили.

«Караул! — бывало, кричит мама. — Сколько раз я говорила: не оставляйте буфет открытым! Кошка перебила всю посуду».

Вспомнив все это, я мигом кинулся в кухню, поймал на печке кошку, намереваясь вывозить ее в вишневке, затем открыть окно и пуститься с ревом искать маму. Я представил себе, как все это произойдет. Мама будет кричать:



«Караул, ведь это дьявол, а не кошка! Где это видно, чтобы кошка лакала вишневку!» Кошка, как сумасшедшая, станет носиться по дому, а мама будет кричать на нее: «Брысь!» — и размахивать кочергой.

Но только я поймал кошку, как раздался чей-то крик: — Хозяин! Эй, есть кто-нибудь дома?

Тотчас открылись ставни, в сенях звякнули щёколдой, и в кухне сразу стало светло. Медный таз сверкнул на загнетке так ярко, что я даже закрыл глаза.

— Здорово, паренек!

На пороге появился Велвел Ходорков, сын кожевницы Баси с нашей улицы. У него был какой-то праздничный вид: пиджак внакидку, на пиджаке красный бант.

— Что, отца дома нету? — спросил Велвел.

Он погладил свои курчавые жесткие, как пружинки, волосы и подмигнул мне одним глазом.

— Что ж ты кошку мучаешь, цуцик?.. Входите! — позвал он кого-то с улицы.

Наша маленькая, тесная кухня наполнилась настоящими солдатами; у них настоящие шинели, но шинели эти без погон, а на папах красные ленты.

Солдаты обступили меня. Со страха я забился в какой-то угол и заревел.

— Тише ты! Не реви! — Велвел вырвал из моих рук кошку и, вытащив меня из угла, весело подтолкнул к порогу. — Марш за отцом! Скажи: солдат привели на постой, надо приготовить постели! Только — живо!

Выскочив из дому, я со всех ног кинулся задами к базарной площади — искать маму. Бегу, а сам плачу.

Однако долго плакать я сегодня не могу. Как-то не плачется. Очень уж на улице весело. Меж двух рядов запертых лавок собрался народ. Стоят кучками, толкуют. А я люблю разговоры.

Бросаюсь в самую гущу, пробиваюсь сквозь толпу, работаю локтями. Наконец взбираюсь на зеленый заборчик нашего волостного правления. Сверху, с забора, мне видна вся площадь. Она переполнена: колышутся шапки, мелькают платки, развеваются красные флаги.

Первый раз в жизни вижу я красные флаги.

Спрыгнув с заборчика, я опять попадаю в самую гущу. Меня толкают, я кричу — сам не знаю, что кричу.

Мне отдавили ногу, я хромаю, но мне хорошо. Так хорошо, что я даже не заметил, откуда взялся мой приятель Зяма и как он саданул меня под лопатку.

Зяме тоже весело. Он весь красный, потный, и козырек у него тоже съехал набок, как у меня.

— Царь-ворюга! — орет он во все горло. — Царь-пьянчуга! Царь-ворюга!.. Кричи! Кричи! — Он надувает щеки пузырями и хлопает себя по щекам.

И вдруг он говорит нечто такое, отчего меня бросает в дрожь. Он говорит, что... солдаты сбросили царя!.. Вот так-таки взяли его, раскатали и сбросили. Я даже попятился.

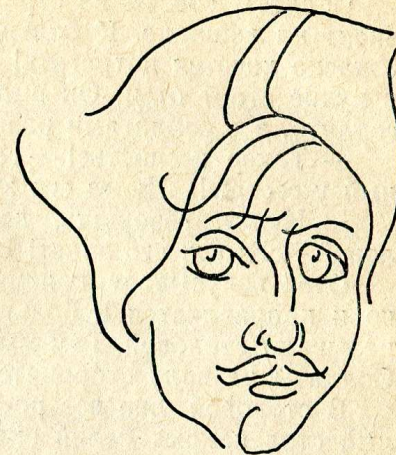
И тут мне представилось, как было дело: сидит себе царь высоко-высоко. На чем сидит, не знаю. Наверно, устроился на шкафу. Солдаты приставили табуретки, взгромоздили на них скамейки, влезли да как схватят его! Сначала царь дрыгал ногами, упирался, но солдаты, не долго думая, — плюх его наземь.

Не могу больше стоять на месте. Скорей бы домой! Вбегу в дом и крикну: «Мама! Солдаты сбросили царя!..»

Бегу домой. Бегу по притихшей площади. Возле повозок солдаты готовят на кострах еду. Солнце уже село. Свинцовая, почти черная туча стеной закрыла западный край неба. Крытые гонтом домишки жмутся к земле. Высятся только пожарная каланча.

В домах зажгли огни, чувствуется приближение субботы. И у нас в доме горят свечи.

Тихонько открываю дверь и останавливаюсь. В нашей маленькой, тесной кухне полно солдат. На столике, у единственного окна, горит пятилинейная лампа. Солдаты сидят за столиком, лежат на полу. В кухне непривычно пахнет кожей, потом, щами.



Солдаты совсем не страшные. Их шинели и папахи висят на вешалке. К большой печи прислонены ружья. Ужасно хочется потрогать! Я очень люблю ружья. Но в кухне стоит отец. Он смотрит на меня, и к тому же сердито, а с солдатами разговаривает очень ласково.

— Такое несчастье! — говорит он. — Один-единственный у сестры!.. Ньюма его звали... Может, встречали?

— Ньюма, говоришь, дедушка? — Солдат качает головой. — Кто ж его знает! Ведь столько народу!..

Отец покусывает кончик бороды, приподнимает плечо и направляется в большую комнату, которую у нас называют столовой. Там мы едим только по праздникам. Солдаты на полу сторонятся и пропускают нас.

В столовой уже все по-субботному. Одноногий круглый стол накрыт белой скатертью. Горит праздничная, четырнадцатилинейная, лампа. В двух высоких жестяных и двух маленьких медных подсвечниках пылают свечи.

Мама стоит у свечей. На столе лежат две небольшие халы, накрытые вышитой салфеткой. Мамина белая кофточка чуть испачкана в вишневке. На полу тоже красное пятно. Но мама сейчас занята и на меня не смотрит. На ней субботний шелковый платок, повязанный спереди; платок заложен за уши. Вытянутыми вперед руками она делает медленные и плавные движения над свечами. Пламя дрожит, тени на стенах колеблются. Мама шепчет слова молитвы.

Отец ждет, когда мама кончит. В черном праздничном сюртуке он ходит взад и вперед, останавливаясь каждый раз перед восточной стеной, которую узнает, вероятно, благодаря тому что на ней намалеваны львы, похожие на коров, и олени, смахивающие на кошек.

Тесно прижавшись друг к другу, стоят в дверях несколько солдат. Один из них, чубатый, с красными лампасами на штанах, вытаращил веселые глаза, раскрыл рот и вот-вот расхохочется. Должно быть, он никогда не видел, чтобы молились над свечами.

Но вот мама кончила. Больше я сидеть на месте не могу. Подхожу к солдатам, — я уже их не боюсь. Мне все хочется выпросить у них, как это они сбрасывали царя.

— Слушай! — спрашиваю я веселого чубатого солдата. — Ты его тоже сбрасывал?

— Кого? — смеется солдат.

Мама вне себя, она сердится.

— Хорош! — говорит она, оттаскивая меня в сторону. — Хорош! Нечего сказать! Оставили сторожа дома! Не мог доглядеть, чтобы они не лезли и не сбросили! — И она тащит меня к заляпанному шкафу.

— Царя, мама!.. Это не я! Это они... — показываю я на солдат. — Это они сбросили!..

— Что они сбросили?

— Царя!.. — повторяю я с удивлением.

Мама отступает от меня, дергает концы своего шелкового платка.

— Какого царя? — Она глядит на меня во все глаза, точно не узнает.

— О-о! Суббота! О-о! — кричит отец и хлопает себя рукой по губам. Во время молитвы нельзя разговаривать, и он только мычит: — О-о! — Он машет рукой и тащит меня к столу.

Стол слишком высок для меня, и я ничего на нем не вижу. Мама, как всегда, кладет на стул подушку, чтобы мне было удобнее сидеть. Она ощупывает мою голову и, успокоившись, вновь принимает смиренный вид.

Отец ходит из угла в угол и читает молитву. Но почему он так хмурится? Удивительное дело — он встречает пением царицу-субботу и чем-то недоволен.

— О-о-о! — мычит отец. Ему все еще нельзя говорить: он не кончил молитвы. Но на столе нет вина. — О-о-о! — мычит он, а мать не понимает, в чем дело.

Отец раздражается: нет вина, и сказать нельзя. Тогда он восклицает:

— Яин!

Отец решил, вероятно, что бог будет более снисходителен, если он произнесет слово «вино» на языке Библии.

— О-о-о! Яин!

И мать ставит на стол графин изюмного вина.

Кончив молиться, отец желает всем нам «доброй субботы», «счастливой субботы». Мать отвечает: «Аминь», за ней и я повторяю: «Аминь».

Ужасно хочется сказать о царе. Когда же мы наконец сядем за стол? Но вот отец наливает себе стаканчик вина и читает благословение.

Мама встает. Она прижимает свои худые, жилистые руки к груди. В комнате становится очень тихо. Я слышу, как дождь негромко стучится в окно.

Солдаты столпились в дверях. Им хочется посмотреть, что делает мой отец. Чубатый даже рот раскрыл. Нос у него сморщился, на худой шее весело прыгает кадык. Он следит за тем, как отец что-то шепчет над стаканчиком. Солдату это очень нравится.

— Дедушка! — весело говорит он. — Чарочку бы!.. — И он ловко шелкает пальцем по кадыку. — Водки бы!..

Я еще никогда не видел таким своего отца. Он для меня самый сильный человек на свете. Я уверен, что все его боятся. И вот он так и застыл со своим стаканчиком в вытянутой руке. Его большая седеющая борода вздрогнула от растерянности.

— Пожалуйста! — Он подошел к солдату. — Только это не водка, а изюмное вино... Суббота у нас...

В кухне что-то закрипело, стукнулись несколько табуреток. Кто-то сзади оттащил чубатого от двери. Затем у порога появился небольшого роста, широкоплечий, коротко остриженный солдат в накинутах на плечи ватнике.

— Прошу прощения, гражданин! — громко сказал он. — Извините нас!.. Федор! — закричал он вдруг на чубатого, и тот стал пятиться от него. — Ведь ты в окопах гнил! Революция ведь!..

Солдат в ватнике побагровел и стал еще больше напирать на чубатого Федора.

— Революция! — вскочила тут мама. — Революция! А кто разбил бутылку с вишнежкой?..

Чубатый сорвал с себя фуражку, перекрестился: он ничего не знает ни о какой бутылке.

— Спросите ребенка! — потянула меня мама за руку. — Ребенок был при этом...

Солдат в ватнике кинулся на кухню. Он распахнул дверь, и в комнату ворвался шум дождя.

— А ну! — закричал солдат в ватнике, наседа на чубатого. — А ну, марш отсюда!

— Мама, — закричал я, — не бутылку он сбросил, не бутылку!.. Царя! Царя! — и заревел во всю глотку.

Я подбежал к окну и распахнул его. На низком черном небе, как дерево, расцветала яркая ветвистая мол-

ния. По дороге, приподняв воротник шинели, в черном мраке мчался чубатый солдат с лампасами.

— Солдат! — прокричал я. — Это я не про тебя сказал!.. Не я это...

Оконная занавеска хлестнула меня по лицу, погасли свечи.

— Закрой окно! — крикнул мне отец. — Ведь буря!.. Боже мой, закрой-ой!..

Я разреvelся еще больше, но не двинулся с места. Тогда отец подбежал ко мне и попытался оттащить меня от окна, а я уцепился за подоконник и не давался. Я не понимал, что происходит.

Страшная весенняя буря бушевала над местечком.

БУРЖУИ

Уже много времени прошло с тех пор, как сбросили царя. Удивительные вещи творятся на белом свете.

— Мама, — допытывался я, — Нохем Лейтес взаправду кровопийца?

В кухне полумрак. Мама, засучив рукава, месит тесто. Она покраснелась. Утрит локтем запотевший лоб и снова месит. Тесто пищит у нее под руками, кряхтит табуретка.

На улице меня ждут Сролик и Зяма. Но выходить к ним мне не хочется: дома лучше. Я люблю, когда пекут хлеб. Только мама почему-то сегодня сердится. Она без удержу ругает Гедáле, владельца пекарни. Он стал дорого хлеб продавать, и Велвел Ходорков, наш комиссар, посадил его в подвал. Теперь хлеб приходится печь самим.

— Мама, — спрашиваю я снова, — значит, Нохем Лейтес пьет кровь?

— Ничего! Это ему выйдет боком!.. Все соки он из отца высосал...

Теперь она проклинает Лейтеса. А еще недавно он был хозяином паровой мельницы и мой отец работал у него.

Однако когда я начинаю допытываться, зачем Нохем Лейтес пьет кровь и почему отец давался ему, мама поднимает голову и перестает месить. Сначала она

глядит на меня молча, затем начинает кричать, чтобы я перестал выматывать из нее душу и ушел наконец из дому.

К крикам я привык. Все взрослые почему-то ходят сейчас очень сердитые. Уберусь уж лучше.

Сролик и Зяма ждут меня на завалинке. Задыхаясь от радости, они отзывают меня за сарай и рассказывают строго по секрету, что в синагоге, под крышей, где молятся женщины, они нашли гнездо с галчатами. Сролик говорит, что нужно сейчас же бежать туда.

— Подумаешь, галки! — сплевываю я пренебрежительно. Мой приятель извозчик Бечек научил меня плевать не как все, а сквозь зубы. — Тоже мне секрет! — говорю я. — Вот я вам расскажу сейчас кое-что получше.

И я рассказываю им, что, когда отец работал у Нохема Лейтеса на мельнице, Нохем, бывало, затащит отца в темный угол и сосет его.

— Сосет? — спрашивает Зяма, и глаза у него делаются круглыми.

— Кровь сосал... и соки... — поясняю я тихо, и мне самому становится страшно.

— Ты сам видел?

— Помереть мне, если сам не видел, — клянусь я и снова сплевываю сквозь зубы.

Вдруг Сролик говорит, что это не новость. Все он знает, этот Сролик! Ему якобы известно, что Нохем Лейтес кровопийца.

— Ну, так идешь или нет? А то все галки мои! — кончает он.

Галок мне не нужно. Галок и ворон я терпеть не могу. Да и страшновато на ночь глядя идти в синагогу. Но чтобы Сролик забрал всех галок, — ну нет, этого не будет!

Пошли втроем.

Уже смеркается. Люди высыпали на крылечки подышать свежим воздухом. Земля подсохла, хорошо утопанные тропинки пролегли по пристывшей грязи. Мы, однако, бредем по самым кочкам. Это, конечно, трудней, зато интересней.

За базарной площадью сворачиваем в переулок, где находится большая красная синагога. В переулке пусто, мрачно. Вечерняя молитва окончилась, и сквозь

окна кирпичного здания видно, как служка тушит свечи. Мы теснее прижимаемся друг к другу. Боязно как-то. Говорят, по ночам в синагогу мертвецы приходят молиться.

Мы только собрались подняться на ступеньку, как вдруг открылась дверь и из синагоги вышел высокий старик в черном сюртуке с тяжелым молитвенником под мышкой.

От неожиданности у нас душа в пятки ушла. Как держались за руки, так и застыли, глаз не сводим со старика.

Ну да, это Нохем Лейтес! Высокий, худой, со вздернутыми плечами. Размеренным шагом спускается он по ступенькам; голова чуть опущена, черный картуз надвинут на лоб, длинная борода распласталась по манишке.

— Кихи-кихи!.. — кашляет он и засовывает руки в рукава, точно ему вдруг стало холодно. — Кихи-кихи!..

Раньше он, бывало, кашлял во всю глотку, а сейчас лишь кихикает. Боится. Его уже зовут не Нохемом Лейтесом, а просто «буржуем», и не любят.

«Теперь я вижу, что есть бог в небесах, — говорит мама. — Нохему теперь все боком выйдет. А придет время, у него и лавку отберут!»

Наконец мы приходим в себя.

— Гляди-ка! — кричит Зяма.

— Смотри! — тычет пальцем Сролик.

— Что такое? — вздрагивает Нохем Лейтес.

Он останавливается, вынимает руки из рукавов. Его густые седые брови нависают еще ниже. Он пугливо озирается по сторонам, поднимает полу сюртука:

— Зацепился? Вымазался? В чем дело, детки?

— Нет, нет! — качаю я головой и даже подхожу ближе.

— Что же вы так разглядываете меня, хе-хе? — посмеивается Нохем Лейтес.

— Кровь сосал... — Зяма втягивает голову в плечи и отступает подальше.



— Из моего отца! — продолжаю я.

И хотя я говорю это тихо, Нохем Лейтес начинает пятиться назад. Брови у него поднимаются, лоб морщится. Он облизывает сухие губы, раскрывает и закрывает рот.

— Он облизывается! — Зяма в ужасе пускается бежать.

— Бездельник! Выродок! — кричит внезапно Нохем Лейтес. — Выродки! Бездельники!

Он протягивает руки и хочет меня поймать. Но я уже бегу, не чуя под собой ног.

Лишь добежав до своей улицы, я перевожу дыхание. Сролика и Зямы давно уже нет. Я сплевываю сквозь зубы, как меня научил мой приятель Бечек, и направляюсь домой.

У нас светло: видно, отец дома. Когда отец дома, входить нужно тихо. Он у меня сердитый, чуть что, — готов драться. Он говорит: ребенок должен знать страх. Он требует, чтобы я не бегал в ревком, не дерзил старшим, не ходил к Бечеку, которого он и за человека не считает, чтобы сидел смирно...

Но не могу я сидеть смирно. Кругом так весело. И веселей всего возле ревкома. Он помещается в белом здании, где раньше было волостное правление. Над зеленой крышей ревкома развевается красивое красное знамя. Двери тут всегда открыты, внутри полно крестьян и местечковых ребят. Толчея, шум, гам. Иногда сюда приводят буржуя. Внизу, в подвале, сидят владелец пекарни Гедале, хозяин кожевенного завода Лейба и прасол Богдан. Они сидят уже давно. Велвел Ходорков, наш комиссар, говорит, что от жары богачи портятся и что в подвале они лучше сохраняются.

Однажды, когда милиционер загляделся, я сунул голову в отдушину. Мне хотелось посмотреть, как они там сидят. Но кто-то из подвала плюнул мне в лицо. Я поскорей вытащил голову. Так им и надо, буржуям! Хорошо, что они там сидят!

Папе и маме, однако, совсем не весело. Мой брат Ара, который учится в далеком городке, почему-то не приезжает. Говорят, там есть такие буржуи, которых называют петлюровцами и которые режут людей.

Еще не доходя до дому, я привожу себя в порядок, отряхиваю пыль. Отец сидит на завалинке. Он без пиджака, в одной рубашке, руки на коленях, борода чуть задрана кверху. Он наблюдает, как из-за каланчи выползла луна и повисла на ее острие.

По его позе я сразу догадываюсь, что он чем-то доволен и бояться мне нечего.

— Откуда? — окидывает он меня взглядом. — Опять шлялся?

— У дедушки был. Чай пил.

Раз был у дедушки, отцу больше нечего сказать. Он велит мне вынести подстилку и подушку. Вхожу в дом, — духота такая, что пропасть можно. Мама, одетая, лежит на раскладушке у открытого окна и, должно быть, спит. Захватив что нужно, выхожу во двор. Расстилаю красное одеяло на траве под окном, бросаю две подушечки и ложусь рядом с отцом.

— Лея! А Лея! — говорит отец в открытое окно. — Я вот думаю: что же это творится на белом свете?.. — Он вытягивается, подкладывает обе руки под голову. — Спит, видно... — Что творится на белом свете! — говорит отец уже сам с собой. Со мной он о таких вещах не разговаривает. Он несколько раз повторяет: «Ах-ах-ах!» — морщит лоб, шевелит губами и наконец умолкает. Я тоже молчу.

Звезда вдруг метнулась по небу и оставила за собой яркую полосу.

— Ой! — восклицаю я.

— Что ты ойкаешь?

— Звезда, папа, упала!

Отец даже не взглянул.

В тишине слышно, как чуть шелестит липа под окном, кто-то смеется, кто-то громко зевнул.

Соседи кругом высыпали на улицу. Им жарко. Полураздетые, сидят они на крылечках, на завалинках.

Улицу мне, однако, не видно. Наш дом стоит на задах. Вижу только домик нашего соседа Чечевички с почерневшим палисадником, домишко кожевницы Баси и, сквозь кусты калины, беленькую хатку Владимира.

У Владимира и Чечевички уже темно, они ложатся с курами. Но у Баси, матери Велвела Ходоркова, слабо светится керосиновая лампа. В перекошенном оконце, почти у самой земли, каждую минуту появляется Бася. Она

ждет сына. С тех пор как Велвела ранили, он возвращается домой рано, не то мать без конца тревожится и плачет.

Но вот, прихрамывая и, как всегда, что-то насвистывая, появляется сам Велвел Ходорков. Он идет мимо нашего палисадника.

Я узнаю его и сразу вскакиваю. Ночь светла, мне видно даже, что его стоптанные сапоги серы от пыли. Я вижу его широкое черное лицо и белую расстегнутую рубашку.

— Вот как! Вы еще сидите? — говорит он.

— Это ты, Велвел? — задирает к нему голову отец.

— А кто же? Людей не узнаешь, Эля? — Велвел останавливается, широко расставив ноги.

Велвел моложе отца, но говорит ему «ты».

— Как тебе нравится эта духота! — Велвел бросает на траву пиджак и расправляет его ногой.

Из окна высовывается его мать.

— Это не мой Велвел у вас? — громко спрашивает она отца.

— Тише, не кричи, мама, я сейчас! — отзывается Велвел и не торопясь садится на разостланный пиджак. — Реб Ошер! — обращается он ко мне с насмешливым почтением. — Потрудитесь, прошу вас, господин Ося, стащить с меня сапог! — Велвел упирается локтями в землю и протягивает мне ногу.

Я очень люблю, когда он просит меня о чем-нибудь. Я слушаюсь его во всем. Иногда я даже прокрадываюсь к нему в ревком. Надо только знать, когда можно прийти к нему. Если он сердит, то пусть даже в ревком за явился только я один, он все равно возьмет и закричит: «Это что тут за мальчишки? Вон! Чтоб и духу вашего здесь не было!»

Зато в другой раз он, случается, сам позовет, поручит что-нибудь сделать. Например, скажет: «Ошер, сбегай к буржую Пинесу и скажи ему, что я не люблю долго ждать». Бегаю я быстро, и голос у меня громкий. Как ворвусь в дом к богачу и заору: «Велвел зовет в ревком!» — всех в жар бросит.

— Легче тащи! Легче! Вот беда! — Велвел прислоняется к стене и тихонько стонет: — А-а...

Несколько мгновений он сидит неподвижно. Между бровями у него ложится складка. Затем он осторожно растирает раненую ногу.

Еще недавно Велвел ходил, как все, но в него выстрелили. Говорят, богачи кого-то подослали. Произошло это ночью неподалеку от нас. Он потом долго лежал в больнице.

Мне очень жаль, что я так сильно потянул сапог. Стою на коленях и заглядываю Велвелу в глаза.

— Может, тебе помочь? — пододвигается отец.

— Да ну, оставь меня! Очень нужно!.. Гори оно со всем! Сдалась мне эта больная нога, как дыра в голове... Не трогай! — кричит он мне, сплевывает и, размотав портянки, отбрасывает их в сторону.

Он снова ложится, подкладывает обе руки под голову.

— Ух! — втягивает он в себя воздух и весело, точно у него никогда ничего не болело и не болит, замечает: — Расквакались-то как! — Глаза у него закрываются, на губах появляется еле заметная улыбка.

— Расквакались, — соглашаюсь я.

Тишина звездной ночи наполнена кваканьем лягушек, перекликающихся в ближних прудах. Кричит ночная птица. Изредка слышен лай собаки. С дальней слободки плывет протяжная песня украинских девчат.

— Спишь, Велвел?

— Нет! — Велвел поворачивается к отцу и ложится на бок.

При свете луны я вижу, что из кармана у него выглядывает черная ручка револьвера.

— Подумать только!.. — начинает отец. — Ай-яй-яй! Всего лишь полтора года назад было такое государство! Такой царь Николай!.. Рыба в воде и та трепетала от страха! — Отец выпячивает губы и размахивает руками. — А теперь ни слуху ни духу. Ничего не осталось...

— Да, было, говорят... — Велвел чуть-чуть щурит глаза и сразу становится серьезным. Он даже потирает лоб. — Но понимаешь, Эля, черт его побери, гибель работы! Нужен хлеб... Нужны сапоги... Надвигаются петлюровцы. Дело только начинается! И такое, брат ты мой, заваривается, что держись. Если меня не спровадят на тот свет, то даже тут, в местечке, будет что посмотреть... Верно, Ошерка? — притягивает он меня к себе.

— Верно! — отвечаю я, не понимая, о чем он говорит.

— Хоть ты-то меня добрым словом помянешь, когда я голову сложу? А, Ошерка?

— Конечно, помяну.

— Молчать! Видали нахала? Он меня уже хоронить собрался.— Велвел отталкивает меня, затем, смеясь, вновь привлекает к себе.

— Ну, Велвел, не перебивай,— продолжает свое отец.— Возьмем Гедале. Такой богач!.. А Нохем Лейтес! Кто мог подумать? Ведь золото лопатами загребал! Шутка ли, в нынешние времена мельница!

— Но без хозяина на мельнице стало лучше? Как? — Велвел настораживается и даже приподнимается на локте.— Лучше?

— Что это значит «лучше»? Ничего. Как мельница вертелась, так она и вертится. Не понимаю я только реба Нохема. Если уж ты отдал такую мельницу,— начинает вдруг отец подвывать, как это делают при чтении Пятикнижия в синагоге,— зачем было оставлять половину вальцов без ремней?

— Вот это-то даром ему и не пройдет... Но ты скажи: тебе лучше без Нохема или не лучше?

— Что значит «лучше»? Для молодых это лучше. Но для меня... Я ведь уже не мальчик... На черта он мне сдался!.. Но вот брать чужое...

— Эля! — Велвел поднимается, сует портянки в сапоги и подхватывает с земли свой пиджак.

— Что такое?

— Иди спать, Эля! Я вижу, ты уже совсем спишь.— И он хлопает отца по плечу, будто мальчика.— Ты не понимаешь, что говоришь. Да и надоело мне тебя уговаривать... Иди!

Он подтягивает штаны и, босой, волоча пиджак и сапоги по земле, прихрамывая, направляется к себе. Его огромная тень раскачивается на белой стене.

Утром, едва открыв глаза, я слышу — отец рассказывает нечто такое, что заставляет меня сразу нырнуть под одеяло и начать храпеть,— пусть думают, что я сплю. Оказывается, он только что из синагоги. Нохем Лейтес рассказал ему там, что я расту «бездельником» и что вчера «прыгал ему в лицо».

Но мама не любит, когда плохо отзываются о ее детях. Она сразу принимается ругать Лейтеса, который возводит напраслину на ее мальчика, и клянется,

что скорей умрет, чем позволит отцу пальцем меня тронуть.

Отец сразу утихает. В кухне скрипит табуретка, позвякивает ложечка в стакане. Видно, отец сел пить чай.

Чуть приподнимаю одеяло. Комната залита солнцем. В открытое окно слышно, как попискивают ласточки под стрехой, кудахчет около дома наша наседка.

— Этакий молокосос! — не может успокоиться отец.— Вырасти не успел, и туда же — дерзить взрослым! Пусть только проснется, уж он у меня получит.

Но я ничего не хочу получать. Окно в спальне открыто. Красная с зелеными птичками занавеска закрывает дверь в столовую. Я высовываю руку из-под одеяла, хватаю свои сатиновые штанишки и лифчик. Некоторое время лежу в постели, затаив дыхание, и боюсь, как бы не скрипнула кровать. Потом вылезаю, быстро одеваюсь и сразу — прыг в окно!

Мчусь к дедушке, который живет недалеко от базарной площади. Но на площади забываю все на свете и самого дедушку.

Базарная площадь открывается деревянной белой церковкой, стоящей посреди большого сада. В этом саду можно сейчас нарвать сколько угодно яблок, потому что священник сбежал. Против церкви стоит широкое, тяжелое, оштукатуренное здание ревкома с красным флагом на железной крыше. Площадь кольцом обступили всякие лавки, чайная, два длинных заезжих двора, красный домик почты. Посреди площади, напротив большой лавки Нохема Лейтеса, стоят извозчики с фургонами, повозками, телегами.

Извозчик Бечек, лузгая семечки и пощелкивая кнутом, зазывает пассажиров. У нас все лузгают семечки. Шлях у нас сплошь усыпан шелухой.

— Эй, Ошерка, сюда! — кричит он мне с козел.

Я пробираюсь к нему мимо крестьянок, которые сидят, поджав под себя ноги. Они продают огурцы, фасоль, морковь, яйца.

Бечек для меня — всё. Он здорово ругается и завидно ловко плюется. Он может плюнуть так, что плевок настигнет человека на другой стороне дороги, и тот не будет знать, кто его оплевал.

Не раз я наблюдал, как Бечек потешался над Этеле, дочерью Нохема Лейтеса. Он терпеть ее не может.

— Хотел бы я знать,— говорит он сквозь зубы,— почему она так вертится и почему так задается?

Этеле, когда идет, мягко покачивается вся, как рессорная бричка, и быстро-быстро постукивает высокими каблучками. На людей она не смотрит, головка у нее закинута, ротик сердечком, и серьги покачиваются в такт походке.

— Нету офицериков, а? — кричит ей постоянно Бечек.

Этеле называет его за это нахалом, что Бечека еще больше бесит.

Из-за Бечека я однажды плакал. Мама купила мне маленькую коричневую собачку-свистульку. И вот я ходил с собачкой по базару и свистел.

Как только Бечек увидел ее у меня, он сразу стал облизываться и заявил, что она шоколадная и что такой собачки он уже давно не едал.

Я ему говорю: она глиняная. А он: шоколадная.

— Давай спорить! Попробуй, откуси!

Я тут же сунул собачку в рот, перекусил ее пополам и разревелся: собачка-то на самом деле была глиняная.

Я плакал, а Бечек покатывался со смеху.

Но именно с этой поры Бечек стал моим другом.

Бечек уже взрослый, он работает у извозчика Завла. Иногда Бечек позволяет мне поить лошадей, влезать на козлы и дает подержать вожжи.

— Ошер, сюда! Живо!

Бечек восседает на козлах, как царь. Оттуда, сверху, ему видна вся базарная площадь. Как всегда, он носит широкую красную рубаху, которая заправлена в длинные рваные штаны, а штаны подвязаны зеленым кушаком с кистями. Его черные глаза на веснушчатом лице быстро ширяют по площади. На мгновение они останавливаются на Этеле, которая только что появилась на пороге лавки своего отца. На Этеле белая блузка, и косы перевиты двумя черными лентами. Некоторое время она неподвижно стоит на крыльце.

— Ошер! — Бечек помогает мне взобраться на козлы. — Погонять лошадей хочешь?

— Хочу,— отвечаю я, вне себя от радости.

— А напоить их хочешь?

— Да! — кричу я в восторге.

— В таком случае,— говорит он, бросая себе в рот семечко за семечком и сплевывая шелуху,— ты пойдешь и передашь кое-что Этеле. — При этом он показывает глазами на лавку Нохема Лейтеса.

Лавка занимает весь нижний этаж, а сам Лейтес живет наверху. У него в квартире большие белые окна и балкон. На балконе стоят вазоны с цветами. Огромные красные двери лавки открыты настежь. На крыльце сейчас почему-то толпится много народу. Внутри я вижу Этеле, вижу рыжего аптекаря, о котором говорят, что он ее жених. Там же и Велвел Ходорков. Он что-то кричит.

— Нет, нет, не пойду!.. Боюсь! — отвечаю я Бечеку. Но не говорю ему, почему боюсь. Незачем ему знать, за что отец хотел меня сегодня лупить.

— Как? — Бечек хватается за голову и отодвигается от меня.

— Боюсь!

— Ай-яй-яй! — Бечек вне себя. Он вскакивает, машет руками. Волосы у него растрепались, красная рубаха вздулась и полыхает пламенем. Он выпучил глаза: — Что я слышу? Ошер боится этой дохлятины Нохема Лейтеса.

— Бе-ечек! Он ведь может услышать!

В одно мгновение весь базар сбегается на крик к фургону. Люди хохочут, кричат что-то Бечеку. И вдруг все смолкает. Из лавки Лейтеса выходит Велвел Ходорков и останавливается на крыльце. Засунув руки в карманы и прищурив глаза, он сердито смотрит на Бечека.

Велвела Бечек боится. «Пора бы тебе человеком стать!» — сказал ему однажды Велвел.

Бечек, стукнув каблуком о каблук, отдает Велвелу честь по-солдатски, а затем, поклонившись, спокойно садится на козлы, точно он вовсе и не кричал.

— Пошел! — толкает он меня с козел. — Марш!

Я не хочу, однако, ссориться с Бечеком. Из взрослых это единственный мой приятель.

— Ну ладно, пойду,— говорю я.

— Вот таким я тебя люблю! — Бечек забирается со мной в фургон. Вслед за нами лезут туда его приятели и еще разные мальчишки-извозчики. — Увидишь, черт ее возьмет! Войдешь,— говорит он мне,— в лавку и ска-

жешь Этеле: «Степа велел передать, что сегодня вечером он ждет тебя у ограды старого кладбища».

— Какой Степа, Бечек?

— Не твое дело. Иди!

Я направляюсь в лавку Лейтеса.

— Подожди! — останавливает меня Бечек. — Что ты скажешь, если тебя спросят: кто тебя послал?

— Скажу, что послал Бечек.

— Вот я тебе дам — Бечек! — вскипел он. — Я тебе все зубы выбью!.. Скажешь, Степа послал.

— Степа, — повторяю я и убегаю.

У дверей лавки толчется множество народу. Локтями пробиваю себе дорогу и вхожу внутрь.

В лавке сумрачно. Из-за жары ставни закрыты, и свет из дверей ложится только на середину пола. Всюду беспорядок. Среди бочек и раздвинутых ящиков стоит черное, обитое красным плюшем кресло. На бочке, облокотившись о прилавок, сидит Велвел Ходорков. Нохем Лейтес в ермолке стоит в стороне, как побитый пес.

Этеле порхает вокруг Ходоркова и каждую минуту восклицает по-русски: «Боже мой!» Она все упраскивает Велвела сесть в красное плюшевое кресло.

Приткнувшись в уголке, стоит жених Этеле, молодой рыжий аптекарь, в пенсне на длинном черном шнурке.

Я сразу теряюсь и не смею подойти к Этеле. Велвел разговаривает с Лейтесом о каких-то ремнях, которые сняли с вальцов.

— Ну, так как же? — Велвел поднимает свое усталое лицо к Лейтесу. — Где ремни?

— Боже мой! — Лейтес начинает бегать по лавке. Глаза его воздеты к потолку. — Боже мой, он сделает меня нищим!.. Откуда у меня ремни? Клянусь тебе, Велвел!..

— Перестаньте клясться! Не люблю ханжей. Полмельницы стойт. Не выводите меня из терпения, — говорит тихо Велвел.

— Но мне, — Этеле складывает губы бантиком, — мне-то вы верите, товарищ Ходорков? Ми-ша, — хнычет она, — что же ты ничего не скажешь, Ми-ша!

Но аптекарь лишь разводит руками:

— Что же я могу сказать?

Велвел даже не глядит в их сторону.

— На улице жара, реб Нохем! — говорит он и втягивает воздух носом, точно ощутил какой-то неприятный запах. — Вы начинаете портиться, Нохем...

При словах «вы начинаете портиться» Лейтес делает несколько шагов к Велвелу. Очень уж не хочется ему сесть в подвал.

— Ладно, Велвел! — вскрикивает он и вновь вздевает глаза к потолку. — Я, конечно, ремней не брал, видит бог, но у меня есть еще несколько штук запасных... Что ж, ладно... Не будем ссориться, Велвел.

— Ох, и мошенник! — Это в дверях появился Бечек.

Из-за его спины выглядывают любопытные. Поднимается смех, сразу становится шумно.

— Марш! — вскипает Велвел и выталкивает всех из лавки. — Вон! — гонит он меня.

— Мне нужно к Этеле! — упираюсь я.

— Пошел вон, выродок! — орет на меня Нохем Лейтес.

— Папочка! — заступается Этеле. — Как тебе не стыдно? Какой чудный мальчик! — говорит она аптекарю по-русски и наклоняется ко мне.

Лицо ее — у самого моего лица, две продолговатые золотые сережки болтаются у моего носа. Она покачивает головой, улыбается мне, ее белые зубки чуть сверкают.

— Что тебе, дорогой мальчик?

— Тетя Этеле! — Мне радостно, что она говорит со мной так ласково. — Степа велел передать, что он ждет тебя сегодня вечером у ограды старого кладбища.

Но что это с Этеле? Лицо у нее вытянулось и пошло пятнами. Она закатывает глаза. Она кричит по-русски: «Боже мой!» — и шатается. Аптекарь становится красным как рак и подхватывает ее. Меня волокут к двери и выталкивают вон. Я не понимаю, в чем дело, и реву. Кто-то влепил мне оплеуху.

— За что обижаете ребенка? — кричит ворвавшийся в лавку Бечек. — Чтоб вам пропасть! Это вам не старый режим! — Он подхватывает меня на руки, мчитя через шоссе и швыряет в фургон. — Но-о! — Бечек вскакивает на козлы и, щелкая кнутом, гонит лошадей. — Плюнь на них!.. — утешает он меня.

Дребезжа колесами, фургон весело мчитя по местечку.

Я не единственный ребенок в нашей семье, у меня есть еще брат. Его зовут Арон, и учится он в далеком красивом городе.

Отцу очень хочется, чтобы он получил образование. «Пусть хоть Ара не мучится! — часто говорит отец, прикусывая при этом бороду и поднимая глаза к низкому потолку. — Из Ары будет толк», — добавляет он, и его глаза делаются счастливыми.

Но Ары все нет и нет. Отцу кто-то рассказал, что Арон уже не учится. Но почему он тогда не приезжает? Мама уже не раз плакала.

Велвел Ходорков, потрясая кулаками, кричал недавно на митинге, что революция в опасности. И многие ушли на фронт против Петлюры. Даже сестра Велвела, Голда Ходоркова, и та ушла. Уже несколько дней не видно Бечека. Говорят, Велвел выдал ему пару сапог, и Бечек тоже отправился на фронт.

Велвел говорит, что все должны пойти на фронт, бить Петлюру.

Из-за Петлюры Ара и не может приехать.

Между нами и Арой легли поля и луга, встали леса. Между местечком и городом деревни и деревни. Идет война. Большевики дерутся с петлюровцами. Вот почему Ара не может к нам приехать.

Мне очень хочется, чтобы он наконец вернулся. Он всегда привозит мне что-нибудь. Он учится в гимназии, у него блестящие пуговицы. Если б я был Арой, я тоже не ходил бы в хедер, дрался бы, стрелял из ружья и скакал на лошади.

Все теперь дерутся и все стреляют.

Я страшно люблю лошадей и войну. Отец уже не раз драл меня за это.

— Ума не приложу, — говорит отец и хлопает себя рукой по лбу, — откуда у мальчишки страсть к войне? Откуда? — спрашивает он меня. — У других дитя в восемь лет уже человек, а у меня — бездельник!.. Слышишь, Лея? — обращается отец к матери. — Зато Арик, дай ему бог здоровья, у нас совсем другой ребенок.

И вот наконец ребенок приехал. Это было вечером. Первой кинулась к нему мама. Она плакала, смеялась, снова плакала и причитала:

— Чтоб мне в радости этот год прожить! Претерпеть бы все муки за тебя!..

Но отец!.. Никогда не видел я его таким убитым. Да и Ару я не узнал: он вырос, стал шире в плечах. Его черная тужурка треснула на локтях; блестящих пуговиц как не бывало; рукава стали коротки — руки вылезают.

Большие, задумчивые карие глаза на его круглом лице шурились и как-то отчужденно улыбались. Он как будто отвык от нас. Ворот его черной рубашки с белыми пуговицами расстегнут, шея открыта. И шапки он не носит. Большая черная смешная тень от его взлохмаченной головы повторяет на стене каждое его движение.

— Ну, как мы живем?

Он с трудом освободился от объятий мамы. Оттолкнув ногой свой фанерный баул, подошел к отцу. Отец наклонился, Ара поднялся на цыпочки, и они обнялись.

Взобравшись на табуретку, я ждал, когда Ара подойдет ко мне — с табуретки мне будет ловчее расцеловаться с ним.

Отец отошел, заложив руки за спину, нахмурился.

— Еле прорвался... Такая завируха! — говорит Ара и машет рукой, точно на дворе и впрямь метель.

А на дворе летний вечер и тишь. Пахнет липовым цветом, лает мой Муцик.

Отец долго смотрит на кобуру револьвера, на желтый плетеный ремешок, выглядывающий у Ары из-под тужурки.

— Конечно, мы представляли себе все иначе... Недоедали, недопивали... Все думали...

Отец неопределенно пожимает плечами. Совсем неожиданно он начинает кричать на меня, приказывает слезть с табуретки. Затем ни с того ни с сего принимает читать молитву на сон грядущий. Слов не слышно, доносится только: у-у-у...

— Думали, ребенок... станет человеком... А тут, полюбуйте, револьверчики! — Он прерывает молитву, откидывает занавеску и уходит в спальню.



Ара растерян. Он кусает ногти, качает головой и улыбается маме.

— Вы что ж, обижаетесь на меня?

Мама отвечает ему:

— Чтоб мне так в радости этот год прожить! Претерпеть бы мне все муки за тебя! — и утирает слезы.

Я подхожу к брату, и меня охватывает робость. Со всем как будто это не он. Какой огромный! Задираю голову и протягиваю ему правую руку, а левой, еле сдерживая дыхание, глажу кобуру его револьвера.

— А, Ошерка! — веселеет он сразу. — Хоть бы на волосок что-нибудь изменилось в доме! — На его щеках появляются две ямочки. — Все тот же полированный шкаф... И самовар все на том же круглом столике... Все тихо, спокойно...

Не понимаю, что он этим хочет сказать: у нас все как всегда. Только белый потолок, поддерживаемый двумя согнувшимися балками, провисает животиком. На нем трепещет желтый круг от каганца.

Ара садится за стол. Мама подает ему ужин. Пламя каганца то сникнет, то встрепенется, и на круглое белое лицо Ары падает то тень, то свет. Его карие глаза под длинными ресницами глядят с любопытством и как-то отчужденно.

— Как тут тихо!.. И как уютно!.. — Он снова разглядывает комнату.

Ара поглаживает стол, наш круглый стол, на красной точеной ножке. Возле стола у нас стоит огромная кушетка с двумя резными львами, они держат по букету деревянных цветов в деревянных зубах. Тут же наш стеклянный буфет, где стоят тарелки, блюда.

Все у нас точно приросло к месту.

Отец ни за что не разрешает переставить мебель. Он не может себе представить, так говорит он, чтобы желтый полированный шкаф не стоял бы в углу возле кушетки. Отец не терпит никаких новшеств в доме.

Ара совсем мало бывает дома. Нет, не из-за отца, просто он очень занят. И я тоже.

Он либо в ревкоме, либо у комсомольцев. Все бежит с нашим комиссаром Велвелом Ходорковым. Они ищут хлеб. Они учатся стрелять и проводят митинги.

Из-за митингов и я никак не усажу дома — очень уж я люблю митинги. Их устраивают в синагоге, и отец никак не может с этим примириться. В синагоге теперь без конца говорят. Наш Ара все время на возвышении посреди синагоги. После каждой речи все хлопают и поют: «Вставай, проклятьем заклейменный...» Это такая новая песня, ее поют стоя. Девочкам можно петь в платках, но мы, мужчины, снимаем шапки. Поют ее с жаром, громко, так что стены дрожат. Один раз я так громко и с таким жаром пел, что меня выставили за дверь. Но я к этому привык, и это меня не трогает. Никогда еще мне не было так хорошо и весело!

Что-то новое, непонятное, большое надвигается на наше местечко.

Но отец боится. Он не хочет, чтобы Ара впутывался в эти дела.

— Лея, — кричит он маме, — у нас в доме все пошло кувыркком!

При Аре, однако, он этого не говорит. Мне кажется, он начинает его побаиваться. И я уже перестал бояться отца.

Ара ему как-то даже сказал:

— Папа, ведь ты уже, кажется, не ребенок!

Они вовсе не в ссоре. Ара даже посмеивается. Размолвка у них вышла из-за меня. И не столько из-за меня, сколько из-за опиума. В жизни не видел я опиума. Опун¹ у нас растет, это да, сколько угодно. Но никакого опиума нет.

Из-за опиума и хедера они и рассорились. Аре не нравится, что я хожу в хедер. Мне это тоже не нравится. Но что я могу поделывать?! Дома творится что-то страшное, если я не отправляюсь в школу.

А чего я там не видел? Посмотрели бы вы на нашего учителя! Маленький, щупленький, семенит ножками, совсем ничтожный, а настоящий разбойник. Как хватит своей костлявой веснушчатой рукой — ух, и больно же!

Больше всего достается Зяме. Зяминого отца убили на войне, никто за Зяму не платит, вот учитель и лупит его. Но в последнее время он стал бояться бить Зяму. Тот так орет, что под окна сбегается народ. Правда,

¹ Опун — хмель. Здесь игра слов на созвучии: опиум — опун.

кричит он не от боли, а так просто, по привычке. Опле-
ухи его не трогают.

Как-то учитель закатил ему здоровенную затрещи-
ну. И вот Зяма наморщил нос, разинул рот и давай ре-
веть благим матом. Представьте, как раз в этот момент
открылась дверь и вошел наш комиссар Ходорков, а за
ним мой брат Ара.

Зяма на минуту примолк, затем набрал побольше
воздуху и так заревел, что у меня зазвенело в ушах.

— Я, кажется, сказал, чтоб было тихо! — крикнул
Велвел. — Ни звука больше!

Зяма, точно никогда и не плакал, мазнул обеими ру-
ками под носом и смолк.

Учитель весь съежился и забился в угол. Я ни-
когда раньше не видел, чтобы он кого-нибудь боялся.
Жена его как стояла у дверей, так и застыла.

— Реб Янкев-Лейб, говорил я вам или не говорил? —
Велвел присел на край стола. Глаза у него красные,
усталые, видимо, он не выспался. Он сидел и разгля-
дывал носки своих сапог. — Вы принимаете меня, навер-
но, за мальчика? Ну-ка, возьмите чернильницу и лист
бумаги! — приказал он учителю и обернулся к его же-
не. — Садитесь, не бойтесь!

Ара тоже присел и стал что-то записывать.

Учитель моментально схватил перо и лист бумаги.
Руки у него дрожали.

— Пишите! — приказал ему Велвел: — Я...

— Я, — повторил за ним учитель и написал это слово.

— Янкев-Лейб...

— Янкев-Лейб...

— Даю эту подписку...

— Подписку...

— Ревкому...

— Ревкому...

— Что больше не буду...

— Не буду...

— Забивать детям головы...

— Головы...

— Опиумом...

Учитель вытаращил глаза и стал скрести ручкой у се-
бя в голове.

— Чем?.. Как ты это называешь? Что вы такое го-
ворите, прошу вас, реб Велвел?

— Какой я реб Велвел? — гаркнул Ходорков. — Пи-
шите: опиумом... религии... А вы, ребята, марш по до-
мам!.. Конец хедеру!..

Выйдя на улицу, я стал ощупывать свою голову.
Очень хотелось мне узнать, чего учитель мне туда напи-
хал. Зяма раскрыл рот и стал вертеть головой во все
стороны.

— Конец! — крикнул я, влетая домой, и тут же
осекся.

Дома было мрачно и беспокойно. У нас сидел дядя
Менаше, который вечно поглаживает свою бороду, хотя
ее у него почти нет. Он кричал, что, если бы у него был
такой сын, как Ара, он лучше сразу похоронил бы его
и справил бы поминки по покойнику; что Ара сделает
несчастливым весь дом, что всех нас перебьют... Потому
что ждут какую-то банду.

— Нет хедера! — сказал я немного тише. — Конец!..
Учитель расписался при Велвеле и Аре, что он набил нам
в головы... Хоть убей, не вспомню, что... Опун! — вы-
палил я.

— Что? — Отец сделал такие глаза, точно его ошпа-
рили кипятком.

— Опун... Нет хедера!..

— Хи-хи-хи... — раскудахтался дядя. — До чего же
мы дожили! Прямо с ума сойти! Взять старого человека
и выдумать про него какой-то опун...

— Что за опун? — кричит отец.

Но убейте меня, если я знаю, что это такое.

В комнате темнеет, мама зажигает каганец. Я его
сам сделал: выковырял серединку из картошки, налил
масла, скрутил из ваты фитиль — и вот она, «молния»,
готова.

Каганец разгорелся. Скрипнула дверь, и вошел Ара.
Таким я его еще никогда не видел. На нем сапоги, на
левой руке шинель, на плече ружье, за спиной вещевой
мешок.

Ни на кого не глядя, Ара подошел к матери, попро-
сил постелить ему и приготовить чистое белье.

— Ну, что ты теперь скажешь? — обратился к Аре
дядя Менаше. Но голос у дяди испуганный и заиски-
вающий. — Вот тебе твои большевики!.. Я спрашиваю:
как это можно выдумать такое на человека?.. Будто

учитель напихал детям в головы хмель!.. Хи-хи-хи... Эх, горе, горе наше!..

— Какой хмель? — вскипел Ара. — Что вы занимаетесь провокацией?

— Что значит, я занимаюсь? Вот ведь он сам говорит, — показывает на меня дядя и подается назад.

— Кто вам говорит? Никто ничего не говорит. Тут люди кровь проливают, а вы контрреволюцией занимаетесь! Раньше выдумали общий котел, теперь какой-то опун...

В комнате стало тихо. На стене одиноко покачивалась большая черная тень Ары. Слышно было, как потрескивает масло в каганце да урчит в животе у меня. С тех пор как меня стали кормить отрубями, в животе у меня всегда урчит.

Хлопнула дверь, и дядя Менаше исчез.

— Менаше! Менаше! — позвал отец. — Почему это у нас стали выгонять людей из дому?

Отец требует, чтобы ему сказали, кто в конце концов в доме хозяин.

— Отец я или не отец? — разводит он руками, и на глаза у него навертываются слезы. — Дом как дом, мебель на месте, а жизнь кверху ногами пошла. Я хочу знать, — кричит он, — почему меня не слушают? Хочу знать, отец я или не отец!

Он откидывает красную с зелеными птицами занавеску и удаляется в спальню.

— Арик, — тихо говорит мама, — не сердись на отца... Собираешься уезжать? — И голос у нее дрожит.

Ара успокаивает ее. Он тоже взволнован. Он просит, чтобы мама положила ему в мешок кусок хлеба и несколько огурцов и поскорей постелила: ему очень нужно выспаться.

Я стою у окна. На улице темно, во дворах у крестьян лают собаки, где-то слышны одиночные выстрелы.

— Ну, иди спать! — говорит Ара маме и провожает ее до дверей спальни.

— Ара, — шепчу я, — ты уходишь завтра на войну?

— Тсс... Они еще не спят. — Он прищуривает один глаз и прикладывает палец к губам.

Я тушу каганец. В комнате становится совсем темно. Против окна поблескивает ствол винтовки. Я страшно завидую Аре. Я его сейчас так люблю!

— Ошер, — говорит он, поднимаясь на локте, — я уезжаю. Помни же: не будь дерзким, не огорчай их! — И он кивает в сторону спальни.

Я обещаю. Мы скрючиваемся оба под одеялом. Я его крепко-крепко обнимаю. Мне очень хочется с ним поговорить и очень о многом расспросить.

— Ара! — говорю я ему тихонько.

— Ну?

— Кто такие рабы?

— Какие рабы!

— Те, о которых поют, что они встали?

Ара молчит.

— Ошер!

— Что? — поднимаюсь я.

— Спи!

Ара поворачивается на другой бок. Он устал и скоро засыпает.

КАК ЗА МНОЙ ГНАЛИСЬ КОЛОСЬЯ

Ары уже давно нет дома. Вместе с другими парнями из нашего местечка он ушел на фронт. Теперь у него есть конь, винтовка.

Очень скучно стало у нас без Ары.

Последнее время меня даже из дому не выпускают. Ставни на ночь стали закрывать, окна завешивают простынями, чтобы и лучик света не пробился сквозь щели.

Вот уже несколько дней, как все говорят, что идут петлюровцы, что налетит атаман Лисица и будет погром.

— Папа, — спросил я однажды, — когда же будет погром?

Отец стал меня разглядывать так, будто впервые увидел. Потом он ссутулился, и глаза у него потухли.

— Боже мой, Лея! — закричал он. — Убери его, Лея! Не то я его убью!

Но маме не приходится меня убирать, я сам убегаю. Отец, конечно, сердится, но я должен сказать, что, с тех пор как в местечке ждут погрома, у нас в семье стало веселее, потому что к нам чаще стали заглядывать люди. А я люблю бывать среди взрослых — сесть вот так в стороне и слушать, без конца слушать, о чем они говорят.

Пусть о чем угодно говорят, только бы говорили. Пусть даже молчат, но только бы сидели у нас. Только бы народ был, все время народ!

Все бегут к нам прятаться. К нам, говорят, не придут, нас не тронут, потому что у нас нечего взять. И верно: домишко у нас маленький, старый. Стоит он на окраине, в низине, затерянный среди садов. Если б не закопченная труба, его бы совсем не видно было. У нас странная крыша, она крыта гонтом, и на ней растет всякая всячина: крапива, репей и даже лопух.

Я очень люблю наш домик. И ласточки его любят. Застрехи у нас со всех сторон облеплены круглыми черными гнездами.

Не понимаю все-таки, почему бы им к нам не прийти. Мама со мной согласна. Мама говорит, что петлюровцы все-таки придут, — поломали бы они себе ноги!

И вещей у нас не так уж мало. У мамы есть несколько ложек накладного серебра, есть два жестяных и два медных подсвечника, серебряные часы...

Мама вытаскивает все ящики из комода и укладывает вещи, а я помогаю ей. В доме творится что-то невообразимое, точно мы куда-нибудь переезжаем. Отец кричит, что я только путаюсь под ногами, и все кричит.

Вещи нужно отнести к нашему соседу Владимиру. Отец взваливает узел на спину и отправляется. Я бегу впереди него.

Хата Владимира стоит недалеко от нашего дома. Она тоже небольшая, приземистая. Только у нас окна побольше и крыша не соломенная. Я хорошо знаю этот домик, там живет мой товарищ Павлик.

У порога хаты я пуганул красного телка с белой мордочкой, открыл дверь и вошел.

Владимир сидит с сыном за столом, они хлебают борщ из большой миски. На полу разведена глина, из которой сосед мастерит горшки.

Мой отец говорит: «Снидайте на здоровье». И сосед просит его к столу.

Утерев обеими руками усы и длинную рыжую бороду, Владимир встает со скамьи. Большой, в дырявых холщовых штанах, он почти подпирает низкий потолок. Перекрестившись перед иконой, он отвешивает в угол поклон.

— Вот беда! — вздыхает сосед и качает головой, отчего его непричесанные волосы еще больше взъерошиваются. — Вот беда! — Он разводит руками и вдруг вздрагивает: в низенькое, раскрытое настежь окно врывается колокольный звон. — Душегубы! — шепчет сосед, захлопывает окно, забирает у отца узел и исчезает с ним в сених.

Отец берет меня за руку, и мы возвращаемся домой. Мы идем теперь не по улице, а задками. Отец то и дело останавливается и прислушивается. От колокольного звона делается жутко. Улица пустынная, все двери на запоре, ставни закрыты.

Над низенькими притихшими домами высится белая деревянная церковь с тремя зелеными куполами. Купола напоминают перевернутые вверх корнем луковицы, из которых торчат три креста. Кресты сияют на закат.

Меня охватывает тоска. Мне всегда тоскливо, когда начинают звонить в церкви. Звонят всегда в субботу под вечер, когда в доме сумрачно и надвигается длинная, тоскливая неделя. Я помогаю тогда маме найти звезду в небе. Когда я нахожу звезду, мама зажигает нашу пятилинейную лампу — и конец субботе! Завтра воскресенье, надо идти в хедер. Отца и матери не будет дома.

Но ведь сегодня не суббота, сегодня четверг?!

У нас дома полно народу. Отец тихонько открывает дверь — все вскакивают. Люди очень напуганы. Скрипит табуретка — и тетя Ита сразу хватается за голову.

Тетя Ита в черной юбке и белой кофточке в крапинку сидит в уголке на полу. Она все еще ждет, что Ньюма вернется с войны. Голову она прислонила к стене. Свет от каганца трепещет на ее исхудалом лице. Она сидит, закрыв глаза.

— А-а, а-а... — тихонько напевает она ребенку, который лежит у нее на коленях. — Прошу тебя, Ошерка, сиди смирно! — говорит она, приоткрыв глаза.



Однако мне не сидится. Перехожу с места на место. Ставни плотно прикрыты, и в доме почти темно. Едва поблескивает каганец. Все время я натыкаюсь на чьи-то ноги. Уйма ног у нас. Все отодвигаются, следят, чтобы я, не дай бог, не споткнулся.

Никогда еще взрослые не разговаривали со мной так ласково. Меня называют и «Ошерка», и «кисонька», и «милый мальчик». Все просят, чтобы я сжалился и перестал слоняться с места на место. Меня боятся тронуть. Даже отец не связывается со мной. Очень уж противный у меня голос! Чего доброго, еще зареву.

Мама целует меня и укладывает на кушетку рядом с собой. Она не только не раздевает меня, но даже застегивает на мне рубашку и надевает ботинки с пуговицами. Первый раз меня укладывают спать в ботинках. А мама ложится в черном плюшевом саке. Жарко, а она лежит одетая.

Я крепко прижимаюсь к ней. Я очень люблю маму сейчас. Мне хочется кое о чем спросить ее, но она гладит меня по голове и просит лежать тихо. Вдруг она поднимается: что-то грохочет на улице. Ясно слышно, как на шоссе дребезжат колеса, как будто в местечко въезжает много повозок.

Отец стоит у окна и смотрит сквозь дырочку в ставне, смотрит долго-долго.

— Кто это там? — Я крепко обнимаю маму.

Она не отвечает. Прижимает меня к себе и, кажется, плачет.

Лежу с открытыми глазами. Полон дом людей, и все молчат. Никогда мне не удастся приметить, как приходит сон. Знаю лишь, что заснул, потому что утром проснулся. Синева пробивается в щели ставней. Мама все так же, с открытыми глазами, лежит рядом со мной. Тетя Ита все так же тихо качает ребенка:

— А-а, а-а...

Проснулся я ненадолго. Очень сладко спится под утро. Опять сворачиваюсь клубочком, колени у самого подбородка, и мне очень хорошо.

Но спать мне не дают. Кажется, кричат. Отец тормозит меня. Я тру глаза и готов от злости расплакаться, вырываюсь из рук и пытаюсь снова улечься на кушетке. И вдруг окно — дзинь! Звенят осколки стекла, и откуда-то доносятся пронзительные крики.

В доме уже никого нет, остались только мои родители.

— Лея, — кричит отец и толкает ее к окну в спальне, — беги! — Глаза у него страшные. — Меня не жди! Я полезу на чердак... Беги!

Мама кутается в свой черный плюшевый сак. Ее маленькое личико белее мела. Она не хочет оставить отца, а он поднимает меня и выталкивает в окно. Потом помогает мне и маме перебраться через забор в сад к соседу. Мама крепко держит меня за руку. Внезапно задетая ветка яблони обдала меня холодной росой. Я вздрагиваю.

Мама пригибается к земле: по саду кто-то бежит. Где-то за деревьями плачет ребенок. Показывается белая кофточка, бледное лицо с растрепанными волосами приближается к нам.

— А-а, а-а... — поет тетя Ита, укачивая ребенка.

А тот кричит и никак не уймется.

Мама хватается за голову. Она не может слышать, как плачет ребенок. Она пускается бегом и тащит меня за собой.

Вслед за нами бегут еще люди, не разберешь, кто это. Они бегут, пригибаясь к земле; среди них мужчина в одном белье, похожий на привидение. Смешно, но я почему-то не могу смеяться.

Из сада мы выбираемся на огороды, потом на луга. Трава выше моего роста, она хлещет меня по лицу. Я часто падаю, мама меня поднимает.

Но вот она уже больше бежать не может. Тяжело дыша, мама останавливается у речки. Речка неширокая, поперек нее лежит верба, по которой можно перейти на другой берег. Но мама говорит, что у нее кружится голова. Она входит в воду и переправляется вброд, держась за вербу.

Мы пробираемся узкой тропкой среди густой ржи. Она высокая, и из-за колосьев ничего не видно. Нам видна лишь ветряная мельница с замершими крыльями да застрявшее между небом и землей только что взошедшее солнце. Где-то одиноко пискнула птица, но пернатые еще спят. Взбудоражились только люди. Из местечка нам вдогонку несутся крики и пальба. Мне очень хочется оглянуться, но мама не дает, тянет меня за собой.

Я опять слышу крики, но уже не со стороны местечка. Прямо по ржи навстречу нам бежит толпа. Ружья, вилы, топоры страшно колышутся на пылающем небе.

Мы все сгрудились на дорожке. Но я не хочу оставаться здесь, я боюсь. Кто-то визжит. Я вырываюсь у мамы из рук и кидаюсь прямо в рожь, прячусь в густых колосьях, прижимаюсь потным лицом к холодной земле.

Теперь я ничего не вижу, только слышу, что кто-то плачет. Несколько раз выстрелили, и плач прекратился. Я слышу мужской смех и удаляющиеся шаги. Потом — тишина, точно ничего и не было. Пчела с прозрачными крылышками кружит у меня над головой, и красная бабочка садится на колос.

И опять кто-то стонет во ржи. Стонет так тихо, что я еле слышу.

— Ошерка-а!.. Ошерка-а!..

Это голос матери.

Я вскакиваю и отвечаю ей. Но мама не отвечает. Нет ее. Кругом лишь море колосьев да пустое небо над головой.

Мне страшно.

Еще зеленые, в волосках, колосья трутся друг о друга. Мертвая тишина наполняется шуршаньем. Голова глубже уходит в плечи, глаза выкатываются.

Когда шуршат колосья, кажется, будто кто-то ступает по рассыпанной соломе. Они шумят так, словно кто-то ползет совсем рядом. Я начну сейчас кричать! Мне страшно!

Я начинаю потихоньку отступать. Сначала медленно пачусь, заслоняя руками глаза, потом сразу поворачиваюсь и пускаюсь бегом. Но колосья бегут следом за мной. И чем быстрее я бегу, тем громче они шумят, тем сильнее бьют меня по лицу, секут по ногам. Я падаю, поднимаюсь и снова бегу.

И вдруг я вспугнул птицу. С криком выскакивает она из ржи. Я на секунду застываю на месте. Мой тонкий высокий визг летит в небо, и со всех сторон мне отвечает визгливое эхо.

Я уже еле бегу, у меня колет в боку. Но колосья шуршат и шуршат, гонят меня вперед, гонятся за мной. Я и сам не знаю, сколько времени бегу. Но вот поле кончилось. Еле передвигая ноги, выбираюсь на луг. Луг мне знаком, знакома мне и упавшая в реку верба.

Опускаюсь на землю. Черный дым стоит над местечком — там пожар. Ветер доносит запах гари. Но меня уже ничто не трогает. Мне только странно: как всегда, стоят вербы, лают по дворам собаки, в ставках квакают лягушки, черный с белыми пятнами аист степенно шагает на своих худых желтых ногах как ни в чем не бывало.

Гляжу на аиста и завидую ему, даже вербам завидую.

Долго-долго сижу я в высокой траве. Потом иду к речке, взбираюсь на упавшую вербу, свешиваю вниз голову и прикладываю губы к трепещущей струе. Широко расходятся маленькие кружки. Затем я вижу в воде заходящее солнце, опрокинутое небо. Рот у меня открыт, волосы прилипли к исцарапанному лбу.

Перебравшись через речку, я медленно плетусь домой. Ни криков, ни стрельбы уже не слышно.

Внезапно мне почудился шорох. Я так и присел в траву, затем выглянул из широких лопухов. Это был теленок, красный теленок с белой мордочкой. Я подошел к нему, теленок замычал, будто встретил знакомого. Но сил у меня больше нет. Я повалился рядом с ним — и тут уж ничего больше не помню.

Потом я почувствовал, что меня берут на руки, увидел рыжую бороду. Мелькнула низенькая хатка, куча глины на полу, желтые, еще не обожженные горшки.

ПАВЛИК

Двери в нашем доме раскрыты настежь, окна выбиты. Петлюровцы к нам больше не придут, нас уже не будут грабить.

Мы с родителями сидим теперь на чердаке и ждем прихода Красной Армии. Здесь темно и жарко. С тех пор как я потерялся в поле, мама не отпускает меня ни на шаг от себя. Она лежит, стиснув губы и зажав глаза. Лицо ее бледно, опухшая рука обернута мокрым полотенцем — ей сломали руку.

Отец сидит, прислонившись к печной трубе. Пыльные солнечные лучи пробиваются сквозь дыры в проломанной крыше. Отец жмурится. Кругом паутина, поломан-

ные ящики, битая посуда, корыта. Отец бос, одежда на нем разодрана. Он ежеминутно складывает и разнимает руки.

— Ара!..— шепчет он, качая головой.— Кажется, Арик был прав. Великий боже!— И он прячет лицо в ладони.

Чуть раньше отец в знак траура порвал на себе пиджак. Схватил зубами за отворот и рванул.

— Боже мой! — вздрагивает мама, потирая здоровой рукой виски.— Только позавчера..

Только позавчера тетя Ита пела «а-а, а-а», укачивая своего ребенка, а теперь тети Иты уже нет.

Мама кусает себе губы, она боится, как бы кто-нибудь не услышал нас на улице. С улицы все время доносятся какие-то крики. Мама крепко держит меня, чтобы я вдруг не сбежал. А мне давно уже не терпится пробежать к слуховому окну и глянуть, что там творится.

Вторые сутки батюшка Лисица убивает и грабит. Вот уже второй день возле ограды нашей церкви лежат несколько убитых красноармейцев. На груди у них вырезаны пятиконечные звезды.

Изредка раздается выстрел, потом опять наступает тишина.

Но вот совершенно отчетливо доносится долгожданный оружейный гул. Далекий, глухой выстрел, веселый посвист шрапнели, а затем разрыв над самым местечком. Раз, еще раз, третий раз.

Теперь я уже никого не слушаю и мчусь с чердака вниз. Там началась беготня, и совсем близко стреляют пулеметы. Это большевики. Их еще не видно, но большевистские пули весело посвистывают в пустынных улочках.

Петлюровцев мы уже не боимся. Они бегут, бросая в панике оружие, узлы с награбленным добром; бегут испуганные, обезумевшие, скачут, точно под ними не земля, а горячая сковорода. А за ними катится волна криков «ура». Кажется, дома с выбитыми окнами, перья, выпущенные из подушек, и даже убитые на улицах улюлюкают им вслед.

Мне и моим приятелям веселее, чем кому бы то ни было.

Как большой одnogорбый верблюд, врывается броневик. На носу у него полыхает веселое красное

знамя, пулеметы из башенки осыпают бандитов градом пуль.

Мы с Зямой, Булей и Сроликом бежим встречать Красную Армию. Командиры покрикивают на нас, гонят прочь, но мы Красной Армии не боимся, красноармейцы нас не тронут. Мы бежим рядом с ними, и они ничего не могут с нами поделать. Они кольцом окружили местечко и вылавливают петлюровцев. Оцепили и нашу улицу. Ловят атамана Лисицу.

Он пробежал почти около меня. Впервые вижу вблизи атамана. Рот у него разинут, нос приплюснут, глаза скошены.

— Наза-ад! — ревет он, отстреливаясь от погони.

Несколько красноармейцев припали к земле и не выпускают бандитов из уловки. Их прижали к плетню. Лисицу хотят взять живым. А он окопался у соседского плетня и сдаваться не желает.

По ту сторону плетня, вся в желтых мальвах, в кустах калины, стоит Владимирова хата. Дверь в хату открыта. На разломанном плетне несколько закопченных горшков. На дворе — перевернутые сани.

Вдруг петлюровцы повалили плетень, кинулись в хату и захлопнули за собою дверь.

Но во двор уже вкатывает броневик.

— Оточити!¹

Люк в броневике открывается, и оттуда выскакивает человек в кожанке. Он весь черный, измазанный, лишь волосы у него белые.

— Лисица! — кричит он, приложив руку ко рту.— Бросай оружие! Сдавайся!

Бандиты отвечают ему стрельбой. Башенка на броневике начинает поворачиваться. Тонкие клювы пулеметов вытянулись к окнам хаты и стреляют. В доме молчат, но подойти к нему нельзя.

— Стать у соседних ворот с ведрами! — приказывает командир.— Не давать огню распространиться!

Я тоже притащил ведро с водой.

У броневика открыли бак с бензином, стали в нем мочить тряпки, паклю и кидать в хату. Под стены набросали соломы. Чистый летний вечер начинает попахивать бензином. Но хату все еще не подожгли.

¹ Оточити — окружить (укр.).



Вдруг все срывают шапки. Со стороны базара показались извозчицьи фуры и крестьянские телеги, покрытые окровавленными простынями и одеялами. Множество народа идет вслед. Это везут на кладбище убитых. Долгий протяжный плач висит над подводами.

— Товарищ командир, — кричит какой-то красноармеец. — Больно долго уж мы с ними возимся! Давайте кончать!

В руках у красноармейца горящая пакля. Он весь в пыли, взъерошен, обмотка у него волочится, красная лента на шапке как кровавый шрам.

Все отступают. Пакля в руках у красноармейца пылает и потрескивает. Огненные языки отражаются в окнах Владимировой хаты. Красноармеец откидывается назад, замахивается, собираясь швырнуть горящий ком на крышу, но застывает на месте. Изумленные глаза его широко раскрыты. Горящий факел падает из рук.

В окне появляется мой приятель Павлик. Как всегда, он в отцовском, измазанном глиной пиджаке, который доходит ему до пят, рук вовсе не видно. Испуганными глазами разглядывает он нас. Слезы полосками избороздили его грязное, растерянное лицо.

Позади Павлика стоит ощерившийся Лисица и ругается. Атаман держит Павлика за шиворот, он знает, что теперь в него стрелять не станут. Петлюровцы застали одного Павлика в доме.

Бандиты стоят теперь у окна и постреливают. Направленный на хату пулемет не отвечает. Темнеет. Командир броневика ходит взад и вперед. Он взволнован и рассержен.

Я говорю командиру:

— Там живет Владимир, и мы спрятали у него ложки и подсвечники.

— Шо-о?

— Ложки...

— Не мешай-ка! — прогнал он меня.

Красноармеец с распустившейся обмоткой задами пополз к хате. Он обогнул двор и пробирается по траве между кустов калины. Вот он уже лежит под низеньким оконцем. Над ним чуть повыше стоит Павлик. Глаза у Павлика устремлены на нас. Все боятся пошевелиться. Боятся, что, увидя красноармейца, Павлик обрадуется, а тогда погиб и он и красноармеец. Надо Павлика крепко напугать и отвлечь бандитов.

— Огонь! — кричит командир.

Пулеметы начинают беспрерывно бить по крыше. Позади дома свистят, кричат. Я закладываю два пальца в рот и тоже свищу. Шофер нажимает грушу броневика. Такой гам, что оглохнуть можно.

Но вот красноармеец привстал на колени. Руки его медленно тянутся к Павлику — выше, выше. Потом он хватает Павлика за босые ноги и разом вниз — к земле.

— Огонь! — кричит еще громче командир.

Павлик выскользнул из своего огромного пиджака и, голый, свалился на красноармейца. Но красноармеец уже не дышит. Он упал головой в траву, а мертвые его пальцы все еще сжимают ногу Павлика.

Красноармейцы бьют теперь по опустевшему окну, чтобы бандиты не могли к нему приблизиться.

— Огонь! — все громче, все злее кричит командир. — Огонь!

В его вытянутой руке мелькнула граната. Отбежав на несколько шагов, командир изо всех сил бросил ее на соломенную крышу. И точно кто-то огромной ручищей стукнул по башке соломенную хату, — крыша крякнула, в сторону полетела солома, куски дерева и желтые клубы дыма окутали домик.

Сначала загорается крыша, затем начинают пылать стены. Из окошек, как из раскаленных печей, бьет пламя. Огонь обнимает хату. Взлетают и гаснут над нашими головами искры.

На мгновенье в окне появляется голова Лисицы.

Павлик изо всех сил тянет за собой убитого красноармейца. Подбежавший командир подхватывает мальчика на руки и уносит его к броневику.

Зарево пожара то разгорается, то тускнеет. Вот лица у всех красные, а вот они потемнели, стали серыми, точно высеченные из камня.

Все молчат, никто не шевельнется. Из хаты уже совсем не слышно криков. Валятся обгоревшие стены, и только голая печная труба одиноко торчит в дыму.

У броневика, поджав под себя ноги, сидит Павлик и плачет навзрыд. Рядом лежит убитый красноармеец. Увидев меня, Павлик поднимается. Ему негде ночевать, и он идет к нам. Он даже не простился с командиром, даже не оглянулся на убитого, который спас ему жизнь.

В местечке темно. Колеблющееся пламя пожара освещает нам дорогу.

Я ОЧЁНЬ ЗАНЯТ

Я очень занят, у меня страшно много дел. Целый день я ношусь по местечку. Надо всюду поспеть: здесь у меня драка с мальчишками, там красноармейцам раздают кашу, наконец должен ведь я быть на кладбище, когда убитых укладывают в братскую могилу. Домой я прихожу, только когда совсем уже проголодаюсь.

Я разбил себе ногу и прихрамываю, иду совсем медленно. Но, свернув на свою улицу, я кидаюсь бежать: у нашего дома стоят две оседланные лошади. Останавливаюсь и начинаю их разглядывать. Стоят они мокрые, опустив головы, и даже не щиплют траву. Коротконогий наш Музик тоже поглядывает на них и ворчит.

— Пошел! — гоню я его.

Я подтягиваю штаны. Очень хорошо, что на улице никого нет. Один с этими лошадьми я чувствую себя почти взрослым. Ох, как мне хочется быть взрослым! Как настоящий кавалерист, похлопываю коней.

— Но-о! Чтоб вам пропасть! Пропустите! — кричу я на них и затем ударяю носком ботинка в дверь.

Я вхожу теперь в дом постоянно с шумом. Я уже курю папиросы и никого не боюсь. Никто даже не цыкнет на меня. Отец молчит, а маму увезли в больницу.

В доме почему-то пахнет аптекой. В соседней комнате кто-то ходит взад и вперед, иногда скрипнет наша старая кушетка. Это, наверно, отец сидит на кушетке. Но кто там с отцом? Дверь не открывается, видимо, заперта изнутри.

Прохожу в спальню. Единственное окно завешено простыней, свет еле пробивается. Вдруг слышу — кто-то стонет. Останавливаюсь в испуге у двери, затем на цыпочках подхожу к кровати. На ней кто-то лежит, накрытый шинелью. Из-под шинели торчат ноги в дырявых носках. Лица я не вижу, но догадываюсь.

— Ара! — зову я, наклонившись к нему.

Он, кажется, услышал меня и простонал:

— Магид, это ты?

— Какой Магид? — не понимаю я.

Возле кровати на табуретке стоит таз. В нем плавают клочки окровавленной ваты и марли. Медный котелок и шапка с красной звездой валяются на полу.

Мне становится страшно. Открываю тихонько дверь в комнату к отцу. Она взвизгивает, но отец не слышит и не оборачивается. У окна, спиной ко мне, стоит красноармеец. Отец сидит на кушетке, положив одну руку на стол, а другой подперев голову. В волосах у него перья из распоротых подушек.

— Ну-ну! — говорит время от времени отец, затем, подняв глаза к красноармейцу, добавляет: — Что ж, товарищ Магид, помогай вам бог!.. Но отцу вот тяжело!

— А я вас уверяю, что рана не опасная! — говорит Магид и подходит к отцу. Он наступает на подсвечник, поднимает его и ставит на стол. Он стоит перед отцом в кожаной тужурке, без шапки, с забинтованной головой. Смятая фуражка с поломанным блестящим козырьком торчит у него из кармана. — Пуля не затронула кости... Вот увидите... — И черные глаза Магида в прорези из марли делают уже. — Хороший он у вас паренек! Еще мальчик, а не кричал, не стонал даже.

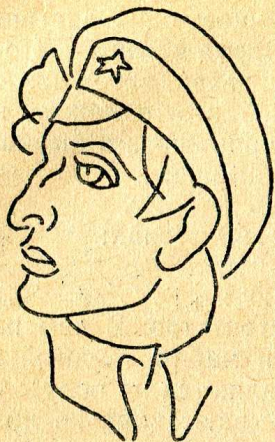
Магид садится на окно. В тишине звякает шпора. Он качает ногой, не замечая, что шпорой сбивает известку со стены, ощупывает рукой голову, прижимает марлю к виску.

— Мы с ним под Васильковым познакомились, — говорит он. — Была там с нами еще одна дивчина, Голда Ходоркова, тоже из вашего местечка. Вместе наступали на Васильков.

— Вы из Василькова?

— Из Василькова.

— Много там жертв?



Магид молча обвел взглядом облупленные стены:

— В Василькове было что-то страшное!.. И в Меджибоже и в Макарове!..

— О, господи! — стонет отец. — Только бы не сойти с ума, боже мой! — говорит он как бы сам с собой. — Никогда не представлял, что на свете столько убийц. И какие люди погибают! — Отец начинает рассказывать про Ходоркова. — Он остался с несколькими красноармейцами, но бился до последнего вздоха.

Слышно, как жужжит муха, как лошади позвякивают уздечками, как плачет соседка.

— Была семья... были дети... и нет их... Будет ли когда-нибудь этому конец?

Магид не отвечает и, кажется, даже не слышит, что говорит отец. Раскрыв окно и глубоко вдыхая воздух — под окном растёт мята, — он долго смотрит на соседний обгоревший дом и на журавель над колодцем, который надвое раскалывает заходящее солнце.

— Мята! — И глаза его улыбаются отцу. — Эх, только жить и жить!.. А быть убитым в такой вечер, это, знаете, действительно обидно. — Он усаживается удобнее на подоконнике, подтягивает голенища. — Как-никак, а я у своей матери единственный сын. Но все-таки... — И он взмахивает здоровенным кулаком. — Кажется, Ара у вас тоже один?

Мне становится обидно.

— Как это так! А я?

Я сказал это так неожиданно, что сам испугался.

Магид поднял брови и смерил меня удивленным взглядом.

— Замечательно! — Он чмокнул губами и взял меня за подбородок. — Как вас зовут, молодой человек?

— Ошер.

Я опускаю глаза. Мне всегда неловко смотреть старшим в глаза. Дядя Менаше, который терпеть меня не может, говорит, что это «хорошенький признак»: из ме-

ня, мол, выйдет жулик или воришка. Исподлобья я все же поглядываю на Магида. Он стоит у зеркала. В треснувшем зеркале я вижу и себя и от смущения скребу в голове: ноги у меня до колен в грязи, и выглядит это, точно на мне сапожки.

— Наследник мой, — говорит отец, вздыхая. — В замечательное время родился. И что из него выйдет?

Магид морщится, разглядывая меня, покачивает головой и затем проводит рукой по моим волосам.

— Собачник, — отвечает себе отец, — собачник из него вырастет! — И отворачивается.

Когда никого нет, сколько отец ни кричит, меня это не трогает. Но когда он говорит при людях, это меня злит. Я сжимаю челюсти до зубовного скрежета.

— Вот слышите? — кивает отец Магиду.

— Ого! Вот как, Ошерка?! — говорит Магид.

И потому, что он говорит «Ошерка», я успокаиваюсь. Магид кладет мне на плечо руку и долго разглядывает мои грязные ноги.

— Так как же, паренек? — И глаза его смеются. — Видно, грязная у тебя работа, а?

О чём он спрашивает?

— Говорю, грязная у тебя работа? — показывает он мне на ноги. — Лужи чистишь?

— Нет! — смеюсь я и, как всегда, очень громко.

Когда ко мне хорошо относятся, я быстро становлюсь своим. У Магида на боку револьвер. Я поддвигаюсь поближе и тихонько тяну его к себе.

— Э, Ошерка, револьвер тебя не трогает, и ты его не тронь. — И он отводит мою руку. — Расскажи-ка лучше, что ты делаешь по целым дням?

— По целым дням? Ничего.

— Так-таки ничего? Скучно, наверно! Очень скучно, а?

— Нет, весело, — отвечаю я.

— Ве-се-ло? Так ты ведь золотко, Ошер! — смеется вместе со мной Магид. — Веселишься, значит. Где же ты веселишься?

— На кладбище. Там выкопали большую-большую яму... и всех кладут вместе... И мне тоже разрешили их засыпать, — говорю я с гордостью. — Мне тоже дали лопату.

Магид перестает смеяться, глаза у него останавливаются. Только что он был веселый и внезапно погрустнел.

— Но их же нужно засыпать... ведь убитые они!... — оправдываюсь я.

— Да-да, Ошерка... нужно, конечно... — Он обхватывает мою голову обеими руками. — Нужно... А где ты еще бываешь?

— В штабе, у походной кухни, где выдают кашу.

— Ты что же, голоден?

— Нет, не голоден. Когда сильно хочешь кушать, — разъясняя я, — и не кушаешь, то потом проходит и уже кушать не хочется.

— Хочешь поехать за кашей?

— Верхом?

— Хотя бы верхом. Когда протрубят на ужин, мы с тобой поедим.

Засунув руки в карманы галифе, он принимается ходить из угла в угол, ступая так, чтобы не звякали шпоры. Он, кажется, сердит.

Небо над замшелыми крышами сделалось кроваво-красным. В комнате стало сразу удивительно тоскливо. Где-то протрубил горнист. Магид насторожился. С поля слышались одиночные выстрелы. В домике Ходоркова кто-то протяжно плакал.

— Ошерка! — Магид нагибается ко мне так близко, что касается марлей моего лица. — Кто это плачет?

Не понимаю, что ему нужно. Горнист уже протрубил, пора ехать за кашей.

— Кто это плачет? — переспрашивает он и подводит меня к окну.

— Это плачет мама Велвела Ходоркова.

— А там? — показывает он пальцем в сторону обгоревшей хаты.

В сумраке я вижу только белую марлю, белки его глаз и белые зубы.

— Это дядьки Владимира хата догорает.

Магид обнимает меня крепко-крепко и негромко говорит:

— Догорает дом... Мать оплакивает сына... Запомни этот вечер, Ошерка! И учись ненавидеть!.. Всей своей кровью, всей душой своей ненавидеть контрреволюцию!.. — Внезапно он обращается к отцу: — Пусть он де-

рется до последней капли крови! Пусть всегда смотрит на мир открытыми глазами! Он запомнит все это и за революцию перегрызет горло. С открытыми глазами пойдет он вперед и ни перед кем не станет на колени. Человеком, слышите, человеком, а не собачником вырастет он!

Строго глядя на отца, Магид затягивает на себе ремень. На меня он уже не глядит. Шарит глазами по комнате, выходит на кухню, возвращается снова.

— Куда девался котелок, дорожный мешок? За кашей пора! — говорит он, глядя на меня.

— В спальне он.

Я кидаюсь в спальню, срываю простыню с окна.

Ара уже не спит. На нем защитного цвета рубашка с нашивками на воротнике. Он морщится от боли.

— Чего вы там кричите?

— Это Магид, — отвечаю я. — Он кричит, что я не буду стоять на коленях и глаза у меня не будут закрываться.

— Ошер? — Он подымает брови и разглядывает меня, точно не узнает. — Что он болтает, отец? — пытается он улыбнуться отцу, который входит в спальню.

— Глупости! — И лицо у отца делается озабоченным. — Сильно болит, Арик?

— Чепуха! — машет рукой Ара. Ему хочется усмехнуться, но глаза у него закрываются, лицо передергивается. — Мама... Где мама?

— Маме, Ара...

Я хочу рассказать, что ей сломали руку, но отец выталкивает меня из комнаты.

— Бери котелок, ведь тебя ждут! — моргает он мне глазами.

Магид уже поит лошадей у колодца. Я подбегаю к нему, и он сажает меня в седло.

— Ну как, хорошо? — спрашивает он меня.

— Еще бы! — кричу я на всю улицу.

Мне очень хочется, чтобы все видели меня верхом на лошади.

Магид берет лошадей под уздцы и тихонько ведет их. Меж черными лошадиными гривами тихо покачивается его забинтованная голова.

Я сижу высоко и колочу ногами в бока лошади. И мне так хорошо, так хорошо!

Магид сказал, что нужно драться до последней капли крови. Вот я и дерусь.

На правой щеке у меня даже вырваны куски мяса, местами она как будто вся в оспинках. Это меня так обработал мой приятель Зяма, когда я его вел на расстрел.

Я уже много раз видел, как убивают людей. Я сам видел, как около нашего дома трое петлюровцев задушили Зяминоного старшего брата. Я видел, как петлюровцы расстреляли в соседнем леске нашего комиссара Велвела Ходоркова. Семью его почти всю вырезали, спаслись только мать и сестра Голда.

Отомстить! Бить бандитов! Но как это сделать, ведь их не схватишь?

Зяму мне удалось недавно поймать, и я повел его на «расстрел». За него ведь некому заступиться, как за меня!

Все молодые ушли с Красной Армией, остальные разбежались. Я не учусь. Бояться мне теперь некого: мама больна, Ара лежит с простреленной ногой. Единственный здоровый человек в доме — это я. Правда, шея у меня в болячках. Доктор говорит, это оттого, что у меня мало крови, и меня надо получше кормить. Станный доктор. Он вроде ходиков во Владимировой хате: дом горит, а ходики все равно идут. Мы с трудом добываем отруби, а он советует пить сырые яйца.

Я ем теперь большей частью щавель, да и то не думайте, что его так легко найти. Этому нужно хорошенько поучиться. Ведь есть человеческий и конский щавель. Конский и в рот не возьмешь. Очень неплохо пожевать цветы акации, они сладкие-сладкие. Но много их есть нельзя. Не вредно покушать низушку стебля у лопуха. А лопухами у нас обросли все ставки.

Целый мир рушится вокруг меня. Большевики дерутся с петлюровцами. Одни уходят, другие приходят. Чуть ли не каждый день меняется власть. Шум, гам, пальба... Как только власти уходят, я тотчас забираюсь в штаб. Никогда не успевают все вывезти. Уж тут-то я набегаясь по ободраным, захламленным комнатам штаба!

Я тащу все, что подвернется под руку: поломанный телефон, чернильницу, бумагу, штык, патронташ, обойму, а самое главное — телефонный провод. Телефонный провод я начинаю обрезать еще до того, как доберусь до штаба.

Из провода я делаю замечательные плетки. Плетку можно сделать и из веток вербы, но такая плетка скоро сохнет. Другое дело плетка из телефонного провода. Лучше всего сплести ее восьмеро. В конец еще хорошо вплести проволоку. Тогда получается настоящий хлыст. Она крепка, гибка, и если резануть ею воздух, раздается такой свист, точно рванулась шрапнель. Кроме плеток, я еще люблю лошадей, ружья, пули, — все, с чем возьмется взрослые.

У меня теперь даже походка такая, как у нашего покойного комиссара. Велвел немного прихрамывал, я теперь тоже хромаю. Каблуки у него были набок, я делаю все, чтобы каблуки у меня тоже покривились.

Три дня я ревел, пока мне наконец не сшили широкие галифе из тонкого сахарного мешка. В моих штанах я теперь похож на перевернутую бутылку.

К этим галифе шапочник Лейба подарил мне фуражку с блестящим козырьком. Не знаю, где он достал ее, но она мне очень нравится. Верх у нее кроваво-красный, а околыш зеленый, и на нем старый след от кокарды.

Плохо только, что фуражка мне немного великовата. Пришлось напихать туда порядочно бумаги, чтобы она не сползала мне на уши. Но и после этого она вертится у меня на макушке, как волчок. Никак не удержу козырька на середине — вот он слева, а вот уже справа.

Когда я впервые пришел домой в своих галифе, в свалившейся на глаза фуражке и с красным бантом на груди, мама от испуга онемела, а отец стал ломать руки.

— Сейчас же, — сказал он, — сними эту дрянь! Иначе я тебе голову сверну.

Но голову он мне не свернул, потому что я тут же удрал.

Не нравлюсь я ему, зато очень нравлюсь всем приятелям. Они завидуют моей фуражке — говорят, что я выгляжу в ней страшным. Я, конечно, этому очень рад.

Собрались мы как-то около нашего дома. Я взобрался на бревна и говорю:

— Буля, Сролик, Зяма! Нужно сейчас же собрать всех ребят и начать войну. Все воюют, все стреляют, одни мы ходим без дела.

У всех ребят глаза загорелись. Все запрыгали от восторга.

Ставни по всему местечку закрыты. Кругом тишина. Только издалека долетает до нас гул перестрелки. Эта далекая перепалка воодушевляет нас.

Меня выбирают командиром, потому что ни у кого нет таких замечательных галифе, столько телефонного провода, гильз и обойм, как у меня, а самое главное — ни у кого нет такой удивительной фуражки.

Я, Буля и Сролик живем на одной улице, Зяма — на другой. Вот из-за этого чуть и не произошло несчастье.

Зяма изменил нам. Представьте себе, он убежал от нас и сколотил свой отряд.

Теперь половина местечка моя, другая половина — Зямина. Он называет свой отряд большевиками, и мы называем себя большевиками. Мы их называем петлюровцами, и они зовут нас петлюровцами. И мы с ними на ножах.

Зяма не смеет показаться на нашей улице, а я не хожу там, где живет его команда.

С утра до вечера мы маршируем, расцарапанные, с подбитыми глазами. Впереди я — в своей кроваво-красной фуражке и в замечательных галифе, с забинтованной головой, как у Магида, а за мной, с криками «ура», со свистом, — все ребята с нашей улицы.

Мы деремся камнями. Но камней у нас нет, и мы обдираем на домах штукатурку, глину, тащим кирпичи. Дома теперь из-за этого стоят облупленные.

У нас есть ружья, и даже неплохие. Мы делаем их сами. Из толстой дощечки выстругиваем ложе, приклад — все, что полагается. Потом в ложе делаем желобок и в нем укрепляем металлическую трубку, в нижнем конце ее просверливаем дырочку — и ружье готово. Его можно набивать порохом.

Трубки очень легко достать. Возле милиции валяется много реквизированных самогонных аппаратов. Аппараты эти состоят из бочоночков, жестяных кругов, и, самое главное, в них уйма трубок, которые называются змеевиками. Мы забираем все. Трубки идут на изготовление ружей, а из бочонок и жестяных кругов мы делаем

барабаны и тарелки. Мама уверяет, что, когда тридцать — сорок ребят начинают бить в барабаны, можно умереть.

Пороху тоже достаточно. У нас уйма патронов; тут и маленькие английские с острыми пулями и желтым порохом, похожим на длинную, тонкую лапшу; тут и русские — они чуть побольше, а порох в них черный и нарезан короткими палочками; австрийские легче всего узнать: пуля тупая, закругленная, а порох черный до блеска и похож на маленькие листочки. Но нам всякий порох хорош! Пули нам не нужны, а гильзы необходимы: гильзами мы набиваем карманы, и, когда бежим, они бренчат у нас в карманах как бешеные.

Домой я всегда вваливаюсь вооруженный, руки в карманах, с грохотом, с шумом:

— Кушать!

Отец тут же начинает стонать. Он говорит, что все пошло кувырком, а дети сошли с ума. Мама молчит. Она стала еще меньше, очень похудела. Левая рука у нее все еще в гипсе. А что касается брата, то доктор говорит, что ему придется отрезать ногу.

Ара подзывает меня и говорит, что я веду себя неплохо. Он хочет мне еще что-то сказать, но вдруг лицо у него искажается от боли. Его страшно мучает рана.

В доме мрачно и скучно, так скучно, что плакать хочется.

А дядя Менаше плюется. Он находит, что лучше меня сразу отравить, чем дать вырасти.

Мама кричит, чтобы он перестал беречь ее раны. И я с ней вполне согласен. Если б дядя Менаше не был пожилым человеком, я бы его как следует поколотил. Мне и без него кисло, а главное — кушать хочется.

Выхожу на улицу и сажусь на бревно. Кругом тихо. У нашего дома стоит свинья. Сразу — бац в нее камнем. Пусть знает! Потому что я хожу постоянно голодный.

Но вот издали слышно, как ребята бьют в тарелки. Звякает жесть и наполняет меня мужеством. Я вскакиваю и бегу им навстречу.

Буля, Сролик и другие ведут Зяму. Они его поймали на нашей улице. Он шел в аптеку за лекарством для матери.

Наконец-то враг у нас в руках. Враг этот маленький, толстенький. Он тоже голодает, но щеки у



него все еще похожи на пампушки.

Не глядя на меня, Зяма просит, чтобы я поскорее отпустил его: ему нужно в аптеку, матери очень плохо.

— В лес его! — командуя я. — Это петлюровец!

Я выступаю впереди всех и размахиваю своим хлыстом из плетеного провода. Сзади шагают мои ребята и бьют в тарелки. Зяма ревет во все горло.

— Сразу видно, что петлюровец. Большевики не режут! — кричу я на него.

Мы входим в молодой и густой кленовый лесок. В самый солнцепек здесь сумрак и прохлада. Мы идем теперь узкой извивающейся тропкой, которая ведет к ближайшему шоссе. В этом лесу петлюровцы расстреляли Велвела Ходоркова.

Земля здесь влажная, пухлая и повизгивает под ногами, точно молодой щенок. Ветки переплелись и царапают лицо. Мы подводим Зяму к тому самому дереву, у которого петлюровцы расстреливали Ходоркова. Еще видна дырочка от пули.

Товарищи мои присмирели. Нам самим становится не по себе от вида этого дерева. А Зяма ревет все громче. Но мы все-таки начинаем привязывать его к стволу.

— Не плачь, — говорит ему Буля, — кажется, кто-то идет.

И действительно, узкой выходящей тропой идут люди. Через несколько мгновений мы узнаем Голду Ходоркову. С нею незнакомые красноармейцы. Видно, они возвращаются с фронта.

Голду я хорошо знаю. Она ушла из местечка еще раньше Ары. Вот она останавливается, осторожно выглядывает из-за дерева. Испугалась, видно, услышав голоса.

— Это я, Ошер! — кричу я ей.

— Ошерка, милый! Чтоб ты здоров был!

Она подбегает к нам, обрадованная, веселая. Ее ботинки на высоких каблуках связаны шнурками и переброшены через плечо.

— Прекрасно! — говорит она красноармейцам, затем оборачивается к нам. — У нас в местечке большевики?

— Большевики, — отвечаю я.

— Что ж вы здесь делаете так поздно? — Она берет Зяму за подбородок. — Отчего у тебя такая заплаканная мордашка?

— Он бандит, петлюровец! — сообщаю я, смущенный.

— Что-о? — Голда так хохочет, что глаза у нее превращаются в щелочки и в них появляются слезы.

Она говорит с красноармейцами по-русски. Очевидно, рассказывает им про Зяму, что он «петлюровец». Она говорит, что нужно обратить внимание на детей, вызвать их в ревком.

Мне уж не терпится, хочется ей все рассказать.

— Голда, — говорю я, — Ара тоже дома. Его привез на лошади красноармеец Магид.

— Ара? — Она радостно хлопает в ладоши. — И Магид? Не может быть! — Она тискает меня в объятиях. — Слышите! — кричит она красноармейцам. — Магид, черт его побери, был здесь!

Голда садится на упавшее дерево, сбрасывает со спины свой вещевой мешок и достает оттуда чулки, затем начинает обуваться. Волосы падают ей на глаза.

— Значит, дорогой мой, Магид еще здесь? — Она причесывается. — Не знаешь? Стало быть, в местечке тихо? — Она говорит сквозь зубы, потому что во рту у нее гребенка.

Присаживаются и красноармейцы. Голда все прихорашивается.

В лесу тихо и сумрачно. Деревья покачивают головами. Временами с шоссе доносится стук копыт, слышна далекая перестрелка.

— Ну, говори, — поворачивается ко мне Голда, — какие новости? Значит, петлюровцы у нас не были?

Она, видно, шутит.

— Ого, еще сколько! — выскакивает Зяма.

— И убивали...

— Еще как!

Я отталкиваю Зяму:

— Зяминого брата убили, комиссара Велвела Ходоркова...

Подбегаю к высокому клену, к которому привязывали Велвела, и показываю ей дырочку от пули, следы крови. Я совсем забыл, что это его сестра.

Голда вздрагивает. Ее большие, широко открытые глаза наполняются слезами.

— Вот здесь, говоришь? — Она подходит к дереву, прижимается к нему лицом.

На нее падает прорвавшийся сквозь ветви отблеск заката. Красноармейцы стоят с непокрытыми головами. Мы тоже снимаем шапки.

Голда, кажется, плачет. У нее вздрагивают плечи, она кутается в платок.

Мне становится страшно. Подхожу ближе к Голде, хочу ей сказать, что больше так вести себя не буду. Кладу руку Зяме на плечо.

Голда, не оборачиваясь, выходит на дорогу. Мы идем за ней. Большая красная луна выползает со стороны луга.

Старый высокий красноармеец берет меня за руку. Позади идут Сролик, Зяма и Буля.

На речке усердно квакают лягушки. В вечернем воздухе звенит комариный плач.

ПИСЬМО В АФРИКУ

Никогда еще я не приходил домой такой возбужденный. Переступаю порог комнаты смирнехонько, безо всякого шума, — это первый раз в жизни.

— Добрый вечер, папа.

— Добрый вечер, Ошерка, — отвечает удивленный отец.

Он не верит своим глазам, не может себе представить, чтобы я тихо, чинно вошел в дом и даже поздоровался.

Все дело в том, что на душе у меня сегодня радостно и вместе с тем беспокойно. Не знаю, как рассказать об этом отцу, но сегодня я впервые узнал, что наше местечко со всех сторон окружает какой-то огромный мир и что на всем белом свете дерутся.

Подперев рукой щеку, усаживаюсь у стола. Кроме меня и отца, никого дома нет. Как только вошла Красная Армия, Ару сразу положили в госпиталь, и мама все время при нем.

— Папа! — говорю я, указывая на окно, выходящее на юг. — Там, за окном, за морями, есть огромная страна. Там тропические леса. Страну эту зовут Африка...

Отец настораживается, затем встает и на цыпочках подходит к столу.

— И там живут негры, папа!.. А Джим хочет их резать... Они бегут, бегут...

— Ошерка! — восклицает отец и разглядывает меня в испуге. — Не заболел ли ты?

Он ощупывает мой лоб: в местечке свирепствует тиф, и, говорят, больные бредят. Он тотчас укладывает меня в постель, и я слышу из-под одеяла, как он вздыхает.

Мне хочется ему рассказать, о чем читала нам в клубе Голда, но отец не дает говорить и приказывает спать.

А Голда читала нам в клубе о негритятах.

Неделю тому назад нас, ребят, созвали в ревком и сообщили, что открывается детский клуб. Голда будет там руководительницей. Но так как подходящего помещения нет, то клуб устроили в старой тюрьме. Запущенное страшное строение это стоит на горке и со всех сторон окружено высоким черным частоколом.

Все решетки здесь выломали, двери пораскрывали. Осталось только несколько крюков с кольцами, которые накрепко вмурованы в стены. Помещение вычистили, выскребли, побелили — и конец тюрьме. Теперь это наш клуб!

— В клубе, — сказала мне сразу же Голда, — должно быть тихо. Прекрати беготню! И не смей бить девочек!

А ребятам она немного позже предложила:

— Надо выбрать дежурного по клубу. Может быть, сделаем дежурным Ошера? Для этого нужен мальчик



тихий, аккуратный. Ошер как раз подходит.— Она поглядела на меня и чуть-чуть улыбнулась.

Я юркнул за спины ребят, а сердце у меня часто-часто забилось.

В клубе поднялся шум. Зяма засмеялся. И все ребята стали кричать, что я бросаюсь камнями и дерусь.

Но Голда заявила, что она не верит этому. Она отыскала меня, посадила поближе к себе и вовсе не бранила, а поглядела так ласково! Из-за этой ласки я боюсь ее сейчас больше всего. Мне боязно, как бы она вдруг не сказала, что я дурной мальчик.

Теперь я постоянно сажусь возле Голды, задираю голову и гляжу ей прямо в рот, когда она говорит.

Когда мы первый раз собрались в клубе, Голда прочла нам рассказ о негритятах. Это было под вечер. Она уселась на окне, ноги поставила на скамейку.

С тех пор как она вернулась домой и узнала, что петлюровцы убили ее брата Велвела, глаза у нее всегда красные и под глазами синяки.

— Дети! — сказала она, обращаясь к нам. Одна щека у нее рдела от заходящего солнца, на другой лежал сумрак большого темного здания. Она указала рукой на острия частокола и две черные башенки по бокам, четко вырисовывающиеся на фоне заходящего солнца, и спросила: — Дети, вы знаете, где Африка?

Мы вытянули шеи и посмотрели на красный солнечный круг. Нет, никто из нас не знал, где находится Африка.

— Смотрите! — сказала Голда, протягивая руку в коротком рукаве к небу, и повела ею влево.

Мы все повернули головы вслед за рукой к югу, где небо уже совсем погасло и показались первые звезды.

— Если мы переберемся через частокол, — сказала Голда, — и пойдем вон туда, к звездам... Если минуем поля и леса, горы и доли, переплывем моря и океаны и все будем идти и идти, мы доберемся до теплых краев, до земли, которая зовется Африкой. Там живут черные-черные люди, негры...

Затем Голда раскрыла книжечку и начала читать.

И с этой минуты все кончилось: нет клуба, нет Голды! Вокруг нас тропическая Африка, густые, непроходимые леса. Мы слышим, как в реках бушуют крокодилы, в чаще рыкают львы... А между деревьев бегут негри-

тата, черные негритята со смоляными кудряшками на голове, и за ними гонится белый человек по имени Джим. Сейчас он их настигнет и зарежет. Белые люди уже давно истребили их родителей...

Голда кончила читать, и наступила мертвая тишина. Слышно было, как маленькая Рахиль тянет носом и вытирает передником глаза.

А потом мы все сразу начали кричать, что белый Джим — петлюровец и что негритятам надо помочь.

Однако Африка от нас далеко. Голда говорит, что поля и леса, моря и горы отделяют нас от этой далекой, неведомой земли.

Я никак не верил, что когда-нибудь смогу прийти на помощь этим несчастным негритятам. Но в один прекрасный осенний день мне удалось переслать им письмо. Я его послал с аистом.

Вот как было дело.

Я копал могилу для ласточки. Она выпала из гнезда и разбилась. Ласточка была маленькая, слабенькая. У нее был невероятно большой рот, и она все время раскрывала его, как рыба, выброшенная на песок.

Я решил, что она просит поест, и напихал ей в рот хлеба. Но ласточка после этого трепыхнулась, раскинула крылышки и испустила дух.

И вот я копал для нее могилу под старой липой, что растет у нас под окном. Вдруг слышу над головой взмахи крыльев. Летят два больших аиста и один поменьше, наверно, детеныш. Маленький все отстает и отстает, а старшие с криком кружат над ним.

— Аист, аист, твои детки горят, а мои не горят, — стал я изо всех сил кричать им.

Так мы постоянно кричим, когда видим аиста.

Аистенок был, видимо, сильно утомлен и спускался все ниже, ниже. Наконец он сел на большую старую липу, что растет у нас под окном. Однако уселся он на сухой, тонкий сучок. Сучок подломился под ним, и аистенок, беспомощно цепляясь за ветки и рассыпая белые перья, упал на землю почти у самых моих ног.

Сразу сбежалась целая орава детишек.

Аистенок лежал на боку и слабо попискивал. Я попробовал поставить его на ноги, но он тут же вновь повалился. Одно его крыло бессильно распласталось, черные круглые глаза были полны страха и боли.

Мы накрошили аисту хлеба, кто-то принес молока. Но птица ни к чему не прикоснулась. Она лежала на боку и точно вздыхала. Отец и мать аистенка описали над нами несколько кругов, покричали вверху и скрылись.

Я осторожно поднял аиста и понес в сарай. Там я огородил ему уголок, постелил мягкую постельку и выложил ее свежим сеном. Моя собачонка Муцик была очень недовольна этим, но я дал ей пинка, и она оставила птицу в покое.

Аистенок пролежал без движения почти двое суток.

Теперь я целыми днями бегал по местечку, разыскивая для него подходящую пищу. Аисты питаются лягушками. Но их трудно добыть, этих лягушек. Живут они у нас подле густо заросших прудов. Как только я подберусь к ним, они, точно камни, бултых в воду — и пропали. Зато совсем нетрудно ловить жаб, особенно вечером в огороде. Там их у нас уйма. Лягушки — зеленые, жабы — серые, в крапинках, и вечно разевают огромные рты.

Раньше я боялся ловить жаб. Папа и мама говорили, что они проклинают людей. Но Голда объяснила, что все это выдумки. А если так, почему же их не ловить? И вот я стал носить своему аисту жаб.

Принесу ему жабку — мой аистенок станет на высокие желтые ноги, осмотрит со всех сторон появившуюся тварь, затем хлоп клювом, — и живая жаба проглочена.

Да, аист выздоровел у меня, и я был очень доволен. Ведь я давно мечтал иметь собственного аиста.

Обычно, встав утром и подойдя к окну, я слышал трескотню, напоминавшую пулеметную очередь. Это на гумне у соседа в круглом гнезде разговаривали два высоких белых аиста.

Однако ловить мне аистов не давали. В нашем деревянном, соломенном местечке, где часты пожары, верят, что там, где поселились аисты, пожаров не будет. Но у нас много аистов и немало пожаров. От зари до заката шагают эти птицы на высоких худых ногах по болотистым лугам, выискивая лягушек в высокой зеленой осоке.

Теперь у меня собственный аист, да еще какой красивый, высокий, чуть ли не с меня ростом! Он уже так

привык ко мне, что бегаёт следом, как Муцик, и клует мне руку, выпрашивая какое-нибудь лакомство.

Однако в конце лета мой аист совсем переменялся, надулся, заскучал, не встречал, как бывало, весело пошагивая; заберется куда-нибудь в угол и упрятет свою длинную шею под крыло.

Иной раз мой аист вдруг подпрыгнет, раскинет крылья — и давай махать ими. Он даже перестал есть. На любой птичий крик, доходящий к нему сквозь тонкие стены, он откликается беспокойной трескотней.

— Скучает мой аист, — говорю я в клубе ребятам.

Однако мне и в голову не приходит, отчего это он скучает.

Рожицы и сады уже пожелтели, ветер повсюду швыряет листья. Крестьяне свозят сено с лугов. Шумные, многоголосые стаи птиц ширяют по полям и лугам.

— Птичьи свадьбы! Птичьи свадьбы! — кричим мы.

Ласточки и аисты, которые в обычное время летают парами, собираются теперь большими крикливыми стаями. Синички, точно пушистые шарики с длинными узенькими хвостиками, посиживают на березах и кленах. Вертялые скворцы, будто маленькие веретена, кружатся на скошенных лугах.

— Осень, — говорит мой приятель Зяма. — Птицы собираются в жаркие края.

Я вздрагиваю:

— Мой аист тоже, наверно, тоскует по жарким краям.

Над скошенными полями, над осенними лугами, высоко над крышами нашего местечка все чаще появляются треугольники птиц — несутся журавли; а вон в небе косые ряды — это летят дикие гуси; ломаными линиями летят аисты. Каждая птица летит по-своему. Одни несутся бесформенными стаями, другие — построившись в шеренги. Но все они наполняют прозрачную тишину беспокойными криками.

Смотрю им вслед, и меня охватывает тоска: не хочется отпускать моего аиста.

— Знаешь, — снова говорит Зяма, — они летят далеко-далеко, в теплые края. Там растут пальмы и зимы совсем не бывает. Там водятся слоны... И там живут, как нам рассказывала Голда, маленькие негрятя. Они бегают совсем голые — ведь там очень жарко. Но белые люди гоняются за ними, бьют их, терзают...

— Туда, говоришь, летят? — И я задираю голову.— Туда?..

И тут у меня появляется мысль. Я даже немею от неожиданности: «Надо туда написать письмо!» Затем мчусь в клуб, к Голде.

— Товарищ Голда! — кричу я с порога. — Письмо в теплые края!.. Детям!..

Голда ничего не понимает.

— Тише! Чего ты кричишь? — набрасывается она на меня.

— Я отпускаю своего аиста! — кричу я снова.

И тут в клубе поднимается нечто невообразимое. Идея послать письмо африканским детям, которых притесняет белый Джим, понравилась всем ребятам, и они наперебой предлагают:

— Надо им написать, пусть сделают революцию!

— Пускай приезжают к нам!

— Пусть расстреляют царя!

Я присел к столу и стал писать:

Дорогие негритята!

Мы очень скучаем по вас и ненавидим петлюровца Джима, который убил ваших родителей и гоняется за вами в джунглях, где кругом львы и крокодилы.

У нас львов и крокодилов нету, но петлюровцы у нас есть. Они убили отца и маму моего товарища Були, расстреляли Велвела Ходоркова, любимого брата Голды.

Все наши братья воюют. Мой брат лежит в госпитале. Он красноармеец. Красноармейцы сбросили царя и убили Лисицу, который хотел всех нас уничтожить.

Просим вас сбросить царя, сделать революцию и поджечь Джима. От имени детей клуба «Спартак», которые ждут вашего ответа,

подписал Ошер.

Письмо всем понравилось. Мы вложили его в конверт и запечатали.

Однако аисты летят очень долго. Летят через степи, преодолевают кипящие моря, прорываются сквозь ветры и ливни. И письмо может в небе размокнуть. Поэтому я свернул его в трубку, обмотал кожей и, завязав шпагатом, помчался домой. Ребята кинулись за мной.

Я взял своего аиста на руки. Он не сопротивлялся. Но как только я вынес его во двор, он стал бить большими крыльями и рваться из рук. Я еле его удержал.

Очень осторожно привязал я к его крылу письмецо, так, что оно лежало у него как раз на спине и не мешало лететь.

В это время высоко в небе показалась стая — она летела ломаной линией. Мы полезли на крышу. Мой аист рвался из рук и бил меня клювом в лицо. Чтобы не свалиться, я ухватился за треснувшую трубу.

— Ребята, смотрите! — крикнул я и отпустил аиста.

Он постоял немного, попрыгал на худых ногах, хлопнул раз-другой крыльями, а затем, даже не оглянувшись на меня, взлетел.

Долго смотрела вся наша компания, как летит аистенок в теплые края. Вот он уже догоняет своих. Я его уже еле вижу. Письмо наше высоко-высоко в небе.

— Улетел! Улетел! — кричат весело ребята.

— В теплые края! В Африку! — добавляю я.

Через поля и леса, через горы и реки, через степи и моря на больших белых крыльях аиста летело наше письмо к негритятам — курчавым детям далекой теплой Африки.

О ЛЮБВИ

— Такая туча надвигается! Столько горя! А он о собачке скулит! — укоряет меня отец.

Но такой уж я есть. Могу смеяться на похоронах и плакать из-за аиста. Я очень люблю птиц и животных.

Больше всех страдает сейчас моя собачка Мучик. Аисты едят жуков и лягушек, кролики — капусту, голубей вовсе не надо кормить: они сами находят себе пищу. Но Муцику нужно мясо и хлеб. Были бы хоть остатки со стола! Но у нас теперь ничего не остается. Когда мама дает нам поесть, мы с отцом так вылизываем тарелки, что они начинают блестеть, как вымытые.

Все теперь голодают. Мой товарищ Буля как-то даже убил ворону и попробовал ее съесть.

Отец и мать все чаще отправляются по деревням. Они ходят туда выменивать мыло, спички, сахарин на отруби и картошку.

— Туча надвигается! — говорит отец.

Сейчас лето, солнечно, ясно. И все же над нами туча. У нас поговаривают о немцах, которые дви-

жуются откуда-то с запада. Клуб работает очень плохо. Голда ездит все время по деревням, собирает хлеб для армии.

Настоящего хлеба нет ни крошки. Едим хлеб из отрубей, и пекут его без соли. Хлеб этот коричневый, тяжелый, в трещинах. Корка еще туда-сюда, а мякиш расползается между пальцев, склеивает рот.

А еще мы узнали о сахаре. С тех пор как появился сахарин, я ненавижу все сладкое и тоскую по соленому. По виду сахарин похож на крупинки битого стекла, по вкусу — на лимонную соль, только лимонная соль кислая, а сахарин сладкий. Когда мама первый раз бросила мне в чай крупинку сахара, я подумал, что она скупится, и бросил себе целую щепотку, как только она отвернулась. Меня чуть не стошнило.

Но Муцику не дают даже отрубей и сахара. От собаки остались кожа да кости, она похожа на кролика и ест теперь даже траву.

Стоит мне позвать, и Мутик сразу же становится на задние лапки, передние чуть свесит, пасть приоткрывает. Что бы я ей ни дал, все съест — даже бумажку. Как только я появлюсь, она сразу бежит мне навстречу. У нее туловище на коротких, растопыренных ножках, длинные мягкие уши и веселая острая мордочка. Таких собак называют такса. Сначала она прыгает на двух лапках, затем валится на спину и катается по земле. А если я приласкаю ее, она прыгает, старается лизнуть меня в лицо.

Но последнее время моя собачка стала серьезной, она пополнила, и у нее скоро будут щенки.

Мутик теперь лежит большей частью растянувшись у порога, высунутый розовый язык ходуном ходит у нее, — она зевает, ловит мух.

Даже отец не трогает ее теперь. Но вот сосед Чечевичка очень недоволен. Виданное ли дело, чтобы евреи держали собак! Мутик, кричит он, разорит его. Из-за Мутика он станет скоро нищим.

Чечевичка живет совсем близко. Его домик, заросший густым сорняком, виден из нашего окна. На дворе у него тихо, как на кладбище. Но временами из этого домика несется отчаянный визг. Тогда вся улица знает, что Чечевичка дерется с женой. Они бьют друг друга до крови.

Я еще ни разу не бывал у Чечевички. Стоит какому-нибудь мальчишке появиться у него во дворе, как он поднимает кулаки и визжит:

— Вон вылодки! Они меня лазоят!

У соседа нет зубов, он не выговаривает буквы «р», и когда ест или говорит, то кажется, будто он жует губу.

Когда Чечевичка ест, он подставляет дрожащую руку к жидкой бородачке, чтобы, не дай боже, крошки не упало на пол. Маленькие поблескивающие глазенки на его морщинистом личике все время бегают. Он вечно что-то вынюхивает, в чем-то копается. Чечевичка поднимает все, что увидит на своем пути: тряпку, кость, жестянку, щепку — и тащит все это в свой дом.

Это маленькое, ссохшееся злое существо ни с кем не разговаривает, всех ненавидит, и все его ненавидят. Иной раз он забежит к нам попросить кипятку. Но мама, заведя его еще издали, захлопывает дверь. А я тогда кричу ему, что никого дома нет, и натравливаю на него Мутика.

— Столет бы вам с вашими собаками! — ругается он и плюется.

Но последнее время отец и мама стали заходить к нему, — нужда заставила. Чечевичка пронюхал секрет производства мыла. Он изготавливает его, а мама выменивает мыло на хлеб.

Мыло у Чечевички как сметана: жидкое, расползается, и сколько им ни три, все равно пены не будет. Чечевичка изготавливает его из перетопленного сала и каустика. Этот каустик может проесть даже железо. Сало Чечевичка добывает из разной падали. Теперь около нас задохнуться можно. Мама все время держит платок у носа, и глаза у нее слезятся. А я уж ничего не чувствую.

Но вот Муцику его мыловарня нравится. Чечевичка ей сала, понятно, не дает, а Мутик любит сало. Сало-то и погубило нашу собаку.



Ошенилась Муцик утром. Это был счастливый день. В то же утро окотилась и наша кошка. Отец сказал, что это хороший признак, что скоро придет вызволение нашему дому и мир всему миру.

Но в то же утро произошло и несчастье.

Я отправился в клуб сообщить ребятам, что у Муцика уже есть щенята. На душе у меня было так хорошо, что я даже удивился тому, что мама пришла от Ары заплаканная.

Голда вовсе не обрадовалась моему сообщению, а только обняла меня и, заглянув в глаза, сказала:

— Какой же ты еще ребенок, Ошерка!

Я выпросил на красноармейской кухне костей и притащил их домой.

— На-на, Муцик! — стал я кричать еще издали.

Но собака навстречу не выбежала. Не было ее и в сарае. Только три маленьких, еще не обсохших слепых щенка скулили и ползали в соломе друг через друга. Широкие светлые полосы солнца пробивались сквозь щели в стенах и в двери. В сарае было темновато и прохладно.

— Муцик! Мама, где Муцик?

Мама вышла ко мне взволнованная.

— В колодец бросил... Утащила кусочек сала, и Чечевичка утопил ее.

Мама обняла меня, принялась утешать. От слез у меня все в глазах двойтся.

Я выскакиваю во двор и несусь к колодцу. Я и сам не знал до сих пор, как люблю Муцика. В темном квадрате воды вижу свое худое, испуганное лицо. В колодце зелень и мрак. Из стен выбивается вода и потихоньку ползет вниз. Пузырьки поднимаются со дна и лопаются на поверхности.

Отец втаскивает меня в дом и укладывает на кушетку. Я плачу, уткнувшись лицом в подушку.

— Ошерка, ведь ты совсем большой!.. И из-за чего? Из-за собачки!..

Сегодня пятница. Отец зажигает каганец. Мама не приоделась, выглядит не по-праздничному. На столе пусто, стол не накрыт. Мама протягивает здоровую руку и творит молитву над каганцом, но она нечаянно задевает его, и каганец тухнет.

— Если бог может подобное допустить, то он выжил из ума, — говорит мама.

Отец умоляет ее успокоиться. Мама плачет, но я знаю — она плачет из-за Ары, а не из-за Муцика.

Я зажигаю каганец. Отец даже не укоряет меня субботой. Он уходит в спальню. Не поев, мы ложимся спать.

Но я не могу уснуть: щенки в сарае скулят. Беру каганец и выхожу к ним, даю каждому по кусочку хлеба из отрубей и наливаю немного воды в блюдце. Тыкаю их мордочками в блюдце. Однако они пищат еще громче и не едят. Один щенок чуть жив.

Мне приходит замечательная мысль: у дяди Менаше была когда-то несушка. Под эту несушку подложили утиные яйца, и у курицы родились утята, хорошие, желтенькие, пушистые утята.

У нас несушки нет, у нас окотилась кошка. Котята тоже слепые и пищат. Если б они были чуть побольше, то походили бы на щенков.

Котята лежат в сите на печке. Влезаю со щенками на печь и кладу их к котяткам. Ничего! Ползают друг через дружку, прижимаются и утихают. И нужно же было одному щенку навалиться на котенка. Какой тут визг пошел!

Откуда-то появилась наша кошка. Она вскочила на печь и сразу же — к ситу. А я уж дежурю здесь. Хочется поглядеть, как кошка начнет кормить щенков. Она обнюхала сито, тронула его лапкой и отпрянула, — хвост у нее трубой, спина изогнулась. И раньше, чем я успел ее удержать, она, ошестинившись, ухватила щенка. Я изо всех сил вцепился в нее, и она исцарапала мне лицо и руки. Вместе скатились мы с печки, и я выбросил ее за дверь.

Щенок уже мертв, на мордочке у него одна капля крови. Котята и щенки визжат. Кошка царапает дверь и громко мяукает.

— Что это там с кошкой? — кричит отец.

— Ничего, папа, спи! — отвечаю я и залезаю в постель.

На нас из окна падает лунный свет, и я прячусь под одеяло, чтобы отец не увидел мое исцарапанное лицо.

Однако мне не спится. Я знаю, что щенки умрут. Они будут умирать долго-долго. С голоду умирают медленно.

Не знаю почему, но здесь, под одеялом, около отца, мне вспомнился вдруг раненый красноармеец. От испуга я пододвинулся ближе к отцу и обнял его. Красноармеец лежал около ревкома. Он охранял ревком, и кто-то его тяжело ранил. Он хотел умереть и не мог. Его уже не могли спасти, и он просил товарищей, чтобы его пристрелили.

Приподымаю край одеяла и в испуге гляжу на белую круглую луну, уставившуюся в окно. В тишине слышно только повизгивание щенков.

— Утопить! — решаюсь я. — Утопить! Пусть лучше сразу умрут!

Проснулся я очень рано, вместе с ласточками. Старый, противный Чечевичка уже подметал двор. Я положил обоих щенков в подол рубашки и, выйдя во двор, разыскал камень, прицелился и запустил его в Чечевичку.

— Ой-ой! — услышал я крик уже позади себя.

Я бегу огородами вниз, к ставкам. Влажная трава сверкает от росы. С луга поднимается синий прохладный туман. Несколько испуганных водяных птиц взлетают из камышей. Тихий, неподвижный, лежит ставок, сплошь затянутый ряской. Только по пузырькам на поверхности да по кваканью лягушек можно догадаться, что здесь вода.

Я становлюсь спиной к пруду и вытаскиваю щенков из рубахи. Черные с белыми мордочками, как у Муцика, лежат они у меня на ладонях. На маленьких глазках у них еще пленка. Щенки водят мордочками и скулят. Лужок колышется, как в тумане, перед моими глазами. Сквозь слезы солнце сверкает мне красным, зеленым, желтым цветами.

Я закрываю глаза и вытягиваю руки. Мои ладони ощущают теплые, мягкие животики щенков. Я швыряю собачек сразу через голову и пускаюсь без оглядки бежать.

Посреди улицы меня останавливает Голда.

— Чего ты плачешь? Почему у тебя лицо в крови? — спрашивает она и обнимает меня.

Мне стыдно сказать, что это из-за щенков. Утирая обеими руками лицо, я рассказываю ей, что Ара очень болен и лежит в больнице. А вспомнив об Аре, я плачу еще сильнее.

Голда тихонько гладит меня по голове, и я прижимаюсь к ней лицом.

— Ошерка, к Аре не приезжал вчера красноармеец? — спрашивает она, не глядя мне в глаза. — Никого у вас вчера не было?

— Какой красноармеец?

— Ну, тот, который тогда привез Ару. Помнишь, ты как-то мне рассказывал о нем.

— Магид?

— Ну да, Магид!

— Нет, я его уже давно не видел.

— Странно, — пожимает она плечами. — А мне сообщили, что он должен быть здесь... Эх, Ошер, Ошер!.. — Она закрывает лицо обеими руками, но тотчас спохватывается, выпрямляется и берет меня за руку. — Пойдем, Ошерка! Только будь веселее! Нехорошо плакать! Нехорошо!

И, постукивая каблучками своих желтых туфельек, она ведет меня к нам домой, к моей маме.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

На Голде платок, повязанный спереди двумя концами. Во дворе ее уже давно ждет бричка. Красноармеец на козлах торопит ее, но она даже не откликается.

Голда созвала нас всех в клуб, чтобы попрощаться. Она говорит, что Красная Армия отступает, сюда идут немцы, но большевики все равно скоро вернутся.

Голда взволнована. Черный сак накинут на плечи. Она все перекладывает какой-то узелок из одной руки в другую. Мальчики молчат, а некоторые девочки плачут. Но я этого не люблю. Голда тоже говорит, что плакать нехорошо.

Вокруг шум и грохот. Бесперывно тянутся обозы, скачут верховые, быстрым шагом проходит пехота. Каждую минуту возникают заторы. Тогда все бранятся, каждый требует, чтобы его пропустили первым.

Внезапно откуда-то появляется верховой в кожаной тужурке. Густая его чуприна выбивается из-под сдвинутой на затылок фуражки. Конь пляшет под ним и все

норовит встать на дыбы; в конце концов он вырывается из этой толчеи.

Приметив всадника, Голда сбрасывает с плеч свой сак, швыряет куда-то в сторону узелок с вещами, и глаза у нее делаются большими и веселыми.

— Иосиф! — кричит она и машет всаднику руками. — Сюда!

Тот, перемахнув через яму, влетает к нам во двор. Лошадь у него вся в мыле. Он на ходу соскакивает на землю и всплескивает руками.

— Голда! — кричит он. — Голда! — и радостно дергает концы ее платка. — Как тебе нравится времечко, в какое мы встретились?.. Ого, сколько здесь детворы!

Он разглядывает нас. Некоторое время смотрит на меня, затем морщит лоб, точно силится что-то припомнить. Кажется, он мне знаком.

Голда кладет ему руки на плечи и топает ногами от радости.

— Иосиф! — кричит она. — А я уж думала, ты на том свете. Эх ты!..

Она уводит его в клуб и захлопывает за собой двери. Я даже не успеваю хорошенько разглядеть этого верхового, но кажется, я его где-то видел.

Удивительно, отчего это Голда стала вдруг такой веселой. Она что-то говорит там, за дверью, а всадник все смеется. Потом они начинают шушукаться, и вскоре становится совсем тихо.

Красноармеец на козлах недоволен. Он кричит на весь двор, чтобы Голда поскорей выходила, пора трогаться — последние обозы уже ушли.

Наконец Голда и всадник появляются. Она вся красная, платок у нее съехал на шею, волосы растрепались.

— Ну, будь здоров! — подает она ему руку и смотрит на него из-под бровей. — Быть может, встретимся в лучшие времена! Всего хорошего!

— Всего доброго!

Всадник спускается с крыльца. Шпоры позвякивают при каждом его шаге. Он вскакивает в седло и машет рукой. Голда отвечает ему и долго смотрит вслед, пока он не исчезает из виду. Затем она надевает свое пальтишко, берет узелок в руки и садится в бричку:

— Трогай!

Бегу домой. Сейчас должны привезти Ару из госпиталя. Госпиталь эвакуируют. Выздоровливающие отступают с армией, тяжелораненых и больных оставляют у жителей. Кроме меня, у нас дома сейчас никого нет. Отец и мать ушли на рассвете выменивать по деревням соль и сахарин на хлеб. Мама боится отпускать отца одного в деревню.

Я еще издали вижу, что возле нас стоит лазаретная повозка с красным крестом. Исхудалый Ара почти весь утонул в соломенной подстилке. Я окликнул его, но он даже не взглянул на меня.

Вся наша улица притихла, слышно только, как тут и там заколачивают окна и двери. Втянув голову в плечи, мимо повозки кто-то пробежал, и опять кругом мертво.

Я помогаю красноармейцу перенести Ару в дом. От боли Ара прикрывает глаза, прикусывает губу.

Только в спальне, когда мы укладываем его на низкой деревянной кровати, он открывает глаза и глядит на меня из-под длинных ресниц. В нашей семье только у него одного карие глаза и большие ресницы.

Волосы у Ары острижены, лицо белое, прозрачное, нос заострился. Он хочет что-то сказать, но не может. На лбу у него выступают капли пота, и глаза закрываются. Потом они снова открываются, он пробует приподняться.

— Скажи по правде... — выдавливает он. — Что-нибудь случилось?

— Нет.

— А где мама?

— Ушла с отцом за хлебом.

Он отворачивается.

Липы покачиваются за окном, в комнате полумрак. Я наливаю масла в жестянку, вырываю из одеяла клочки ваты, чтобы скрутить фитиль. Внезапно слышится дробный стук копыт. Стук приближается и замирает у нашего дома.



Скрипнули ворота, лошадь переступила порог нашего маленького сарая. Ара приходит в невероятное волнение.

— Что?.. Что там такое?..

Выбегаю в кухню. Из сеней, ступая на носки, входит тот самый кавалерист, который только что прощался с Голдой. Прикусив губу, он осторожно опускает на пол тяжелый брезентовый мешок, затем возвращается в сарай и приносит оттуда большой моток белого телефонного провода и жестяную банку. Стою и гляжу на него, а он точно и не замечает меня. Вот он повернулся к окну и, отдернув занавеску, долго смотрит на замершую вечернюю улицу, затем прислушивается к вою снаряда, который падает где-то недалеко от нашего дома.

— Дудки! — Он весело зажмуривает один глаз. — Не взорвался!.. Так-то, Ошерка!

Оказывается, он меня все-таки заметил и знает.

— Я тебя тоже узнал! — вскрикиваю я.

— Очень тронут.

— Товарищ Магид, разве ты Иосиф?

— Иосиф.

— Тогда ты пришел к нам с перевязанной головой, а теперь она у тебя не перевязана.

Узкое, продолговатое лицо Магида выбрито досиная. Тужурка на нем расстегнута. Он покачивается, а в шпорах звякают никелированные кружки.

— Верно, Ошерка. — Он хлопает себя по лбу. — Голова еще цела. Еще мы повоюем, черт возьми!.. — И вдруг он спрашивает: — Отца нет? Жаль. Надо б у него кое-что взять... Ару привезли?

Не дослушав меня, он на цыпочках идет в спальню, увидев брата, чуть выпячивает губу. Затем, присвистнув, говорит Аре:

— Похудел немного!

Ара, весь просветлевший, поворачивается к Магиду. Только что он лежал совсем без сил, а теперь приподнялся, почти сел.

— Как хорошо... что ты пришел... Магид... Давно ты здесь?..

Его вытянувшееся лицо чуть зарумянилось, глаза зажглись.

— Лежи, лежи! — уговаривает его Магид.

Он поглядывает на Ару и мнется, не зная, видимо, как ему быть. Последний лучик солнца задержался на его запыленных сапогах со шпорами.

В доме уже сумеречно. Я чиркаю спичкой, но она не зажигается. Удивительные спички: перед тем как вспыхнуть, они сначала шипят, потом воняют.

Магид подходит к столу и отбирает у меня спички.

— Не нужно, — говорит он, — еще светло.

Затем он присаживается, поправляет клеенку на столе, сметает крошки на пол, молчит.

— Магид, скажи правду! — спрашивает Ара, и в его глазах появляется испуг. — Ты пришел прощаться? Да? — Он ворочается, и одеяло сползает на пол.

— Паренек, — обращается ко мне Магид, а сам чего-то подмигивает Аре, — сходи-ка погляди за моей лошадыю. Она мокрая. Когда остынет, позови меня, мы ее напоим.

Он говорит и в то же время подталкивает меня к двери. Похоже, что он выставил меня за дверь. Мне это не нравится. Но, может быть, в самом деле надо посмотреть за лошадыю.

Уже в сенях я слышу, как он быстро начинает шагать по комнате, потом что-то говорит. Но говорит он тихо, и я ничего не разберу.

Лошадь тянется ко мне, когда же я пробую ее погладить, она брыкается. Лошадь мокрая. А лошади, когда они устали, опускают уши, начинают кусаться.

— Кось-кось!

Я протягиваю ей охапку соломы. У нее позвякивает уздечка, она поднимает уши, становится ласковой. А раз так, мне хочется поскорее напоить ее.

— Товарищ Магид! — кричу я и бегу на кухню. Но Магид не отзывается.

Посмотрю-ка я тем временем, что у него там в брезентовом мешке. Развязываю его. Чего только тут нет: долота, шнуры, молотки, какая-то тяжелая банка. Хорошо бы ее открыть! Стукаю по крышке раз, другой.

Магид, видно, услышал стук.

— Не смей! — кричит он сердито, вбегая. — Не тронь! — и даже весь дрожит. Затем он осторожно отнимает у меня банку. — Ну и парень! — Тут он начинает разговаривать со мной очень дружелюбно. — Ты все еще любишь оружие, Ошерка? Поди-ка сюда! — И он вводит

меня в спальню.— Только правду говори! У тебя есть штыки, пули, проволока?

— Нету,— отвечаю я.

— Обманываешь, Ошерка!

Ара тоже пристально глядит на меня.

— Ошерка, я уезжаю... Войдут немцы. Если они найдут у вас пули, весь дом погиб.

Я лезу за шкаф. В паутине, среди тряпья у меня спрятана плоская коробка из-под пулеметных лент. В эту коробку я складываю осколки снарядов, патроны и еще много другого добра.

Магид отбирает у меня коробку.

— Эх ты, Ошер, Ошер! — Защемив дверью патрон, он выламывает пулю из гильзы и высыпает порох.

С ужасом гляжу, как Магид, отдернув занавеску, раскрывает окно в чужой сад. Коробка и гильзы стукаются о ветки. Сыплются листья, падает наземь несколько зеленых яблок. Подбежав к окну, вглядываюсь, куда падает мое добро. Мне противно смотреть на этого Магида за его выходку.

Я зло оборачиваюсь к нему, но теперь уж совсем ничего не понимаю. Магид сидит у окна и срывает звездочку с фуражки, потом отстегивает шпоры. Поблескивая зубчатыми колесиками, шпоры звякают у него в руках, точно плачут, затем одна за другой летят в окно.

— Ма-агид?!

— Да, так зовут меня.

— По-очему?..— заикаюсь я.— Почему ты выбросил шпоры?

— Не жалеешь ты лошадь, Ошерка,— отвечает Магид.— Лошадь ведь тоже человек.— Он хлопает меня по плечу и усмехается.

Ара бегаёт глазами по стене:

— Ошер... Дай Магиду папин пиджак и штаны... И желаю тебе успеха! — говорит он уже не мне, а Магиду.

Ара хотел было подать ему руку, уже высунул ее, худую, детскую руку, но сразу же спрятал снова под одеяло.

— Не надо! Тиф у меня... Еще заразишься...

— Глупости! — Магид жмет ему руку.

Затем он одергивает рубашку на себе, потуже затягивает пояс и поворачивается на каблуках.

В кухне я подаю Магиду папины вещи. Я даже боюсь спросить, зачем ему понадобились заплатанные пиджак

и штаны, когда у него у самого такие хорошие галифе и красивая куртка.

Магид берет пиджак, расстилает его на полу, затем складывает в него телефонный провод, банку, брезентовый мешок и, свернув все это в один узел, завязывает его руками.

— Ведро есть? — спрашивает Магид.

Поискав глазами, он замечает на табуретке ведро с водой и выходит с ним в сени. Я иду следом. Он отвязывает лошадь и, погладив ее, ставит ведро себе на колено. Затем тихо-тихо насвистывает. Слышно, как в сумеречной тишине сарая лошадь тянет воду, как позвякивает уздечка.

— Ошерка, Ара очень болен...— тихо говорит Магид. Потом он пробует седло и, упершись коленом, подтягивает подпругу. Прикрутив узел к седлу, он открывает дверь на улицу, высовывает голову и оглядывается.

На улице никого нет. Уже стемнело, но нигде не видно даже каганца. И вдруг откуда-то появляется Нохем Лейтес. Он ступает размеренными шажками. Голова у него высоко поднята, черный картуз надвинут на лоб, длинная острая борода задрана кверху.

— Кхи-кхи,— кашляет он на всю улицу.

— Кто это? — спрашивает Магид и смотрит ему вслед.

— Это из наших буржуев... У него отобрали паровую мельницу и лавку. Теперь он доволен...

— Н-да! Нехорошо! — Магид морщится и следит за ним из-за двери, пока тот не исчезает в темноте.

На улице опять тихо, даже не стреляют, и от этого мне становится очень страшно: значит, никого нет, большевики ушли, и откуда-то ползут немцы.

Магид выводит лошадь, но не садится. Задрав голову, смотрю на него. Очень хочется, чтобы он сказал мне на прощанье что-нибудь хорошее.

— Глазенки-то какие у тебя, цуцик! — Он берет меня за подбородок.

— Не надо,— говорю я, уставившись в землю.— Не хочу... Оставайтесь с нами, товарищ Магид.

Он странно усмехается одной половиной лица и, ничего не отвечая, берет лошадь под уздцы и сворачивает почему-то к саду.

— Знаешь что, Ошерка,— говорит он.— Принеси-ка мне топор.

— Топор?

— Ну да, топор.

Когда я подошел к нему с топором, Магид стоял у самого забора сада по колено в крапиве. Он смотрел куда-то мимо деревьев. Из-за зеленой гущи выполз большой, красный кусок луны. Небо было алое, поблескивал уголок железной крыши.

— Вечер-то какой, Ошерка! — И Магид берет у меня топор.

Он поддевает топором доску в заборе и со скрежетом выдирает из рейки гвозди. Вот падает одна доска, другая.

— Зачем это?

— Да так, Ошерка. На дороге пыль, а полями... Ох как хорошо ехать полями. Верно, Ошерка?

— Да, да,— отвечаю я, хотя не понимаю его: сейчас вечер, прохладно, пала роса, и никакой пыли нет.

Он вводит лошадь в сад, приколачивает обратно доски и прощается со мной.

— Ну, будь здоров, Ошерка.

— Добрый путь,— отвечаю я.

— Скажешь отцу, что костюм я ему верну, пусть не беспокоится.

Когда Магид исчез за деревьями, я вхожу в дом. Тут темно. Я покрываю, как отец, потираю руки. Пусть Ара не думает, что я маленький. Зажигаю каганец. Спальня наполняется желтым, дрожащим светом.

— Уехал? — спрашивает Ара.

— Уехал,— отвечаю я.— Полем. Магиду нравится ехать полем... Он любит росу...

Придвигаю стул, закидываю ногу на ногу. Я чувствую себя взрослым, таким же, как Ара. Да Ара, собственно, не намного уж старше меня, разве лет на семь — ему всего только шестнадцать.

Он сидит на кровати. На впавших щеках пятна, губы сухие, только ввалившиеся глаза горят.

— Ошерка... — У него нет сил сидеть, он опирается на подушку.— Мои бумаги... вытащи... из-под кровати...

А я и не знал, что там у него бумаги. От меня в доме все прячут. Вытаскиваю корзинку и, придвинув к кровати стол, высыпаю на него исписанные тетради, географию с картинками, какую-то перевязанную пачку бумаг.

Вдруг что-то блеснуло и стукнулось об пол. Нагибаюсь — на полу синеватый браунинг. Ара протягивает из-под одеяла тонкую руку и забирает его у меня. Тетради и книжки он отодвигает в сторону и принимается за перевязанную пачку. Ара разглядывает печати, штемпеля, искусные подписи, затем принимается эти бумаги рвать. Однако у него не хватает сил.

— Порви,— просит он меня.

И я рву его документы на мелкие кусочки. Он следит за моими руками, и я слышу его горячее, прерывистое дыхание.

— Что ты делаешь?! — вскидывается он вдруг и вырывает у меня из рук какую-то книжонку,— верней, не книжонку, а сложенный вдвое кусочек картона.

— Ошер... ведь это... ведь это биле-ет!.. — Он держит билет обеими руками, долго разглядывает его, затем разглядывает меня и даже чуть отодвигается.— Я его спрячу... — говорит он уже тихо, точно доверяет мне какую-то тайну.— Вот выздоровею, тогда... Вот выздоровею,— повторяет он снова, и вокруг рта у него появляется морщинка.

Но это не улыбка, это какое-то тихое, счастливое умиление. Ара делается сразу спокойным-спокойным. Он лежит на спине, одна рука у него свесилась; неподвижно глядит он на низкий, чуть осевший потолок, на крюк, к которому когда-то были подвешены наши колыбели.

В комнате стало темней. На цыпочках, чтоб не тревожить брата, я подхожу к каганцу и снимаю нагар. Сразу становится светло. Дымок уносится под потолок, и желтый светлый круг покачивается у Ариной кровати.

— Ошерка,— говорит он, не отрывая взгляда от крюка,— понимаешь, один раз, лишь один раз побывал я на фронте... — Он поворачивается и глядит мне прямо в глаза.— Только начал... И конец! Конец, Ошерка...

Он сбрасывает с себя одеяло, ему становится жарко. На нем армейское белье с черным клеймом. Его простреленная нога вся распухла и стала синей. Вот он начинает метаться, судорожно прижимает обе руки ко рту.

— Ошерка! — Он тянет меня к себе.— Держи... потолок! — И он закрывает лицо руками.— Потолок... падает... Ошерка!

Сначала мне кажется, что он шутит. Но, присмотревшись, я начинаю понимать и чувствую, как волосы у

меня на голове поднимаются и мурашки бегут по телу. Его красные глаза вылезают из орбит, худые щеки багровеют.

— Мне страшно, Ара! — плачу я.

Подушка вокруг головы Ары становится мокрой; маленькие мягкие перышки пристают ко лбу и к вискам.

— Душит!.. — Ара рвет на себе рубашку. — Жарко!.. Окно!..

В комнате и так прохладно, но я вскакиваю и быстро раскрываю окно, так быстро, что каганец тухнет. Комната наполняется прыгающими лунными пятнами. За окном, раскачиваясь, шуршит липа. Ее листва то закрывает, то открывает луну. Ара весь в лунных пятнах.

Чиркаю спичкой — и вновь делается светло. На дрожащий огонек каганца летят бабочки, всякая мошкара. Пестрая золотистая бабочка покружила у огонька, судорожно трепыхнулась и свалилась в масло. Прислоняюсь к окну. Кажется, на всей улице освещено только наше окно. Над местечком висит луна, теперь она белая, шербатая.

— Ошерка, холодно!

Я слышу, как у брата стучат зубы, и закрываю окно. Затем, сорвав с вешалки папину шубу, накрываю ею Ару. Я наваливаю на него целую гору подушек и одеял.

— Ух, — кричит он из-под одеяла, — холодно!

Его осунувшееся лицо становится пепельно-серым, лоб в испарине. Он смотрит и не видит меня; что-то говорит, но я не пойму, что именно. Он машет рукой, точно гонит кого-то.

— На кушетку! Туда, — показывает он на дверь. — Не могу... Душит...

Он обхватывает меня обеими руками, и я пытаюсь его поднять, но это не удается. Тихонько волоку его в соседнюю комнату и укладываю на кушетку. Несколько минут он лежит спокойно, затем снова начинает метаться. Каганец остался в спальне, и я не вижу брата.

— Ара, — прошу я его, — давай уснем!

Он не отвечает.

Облокачиваюсь на поручень кушетки и кладу голову на руки. В окно видно множество звезд. Где-то кукарекнул петух, ему ответил другой. Видать, уже поздно. Глаза у меня слипаются. Ерзаю, чтобы не уснуть. На голубом четырехугольнике окна вижу Арину поднятую руку.

— Вот он! Вот он! — вскрикивает брат.

Рука его падает, он весь передергивается.

Мне страшно. Пододвигаюсь к нему ближе, залезаю к нему под одеяло.

Разбудили меня топот и лязг. В комнате поголубело. Где-то на шоссе ступало множество ног в сапогах, цокали копыта и слышались крики. Видно, немцы вошли в местечко.

Сажусь на постели, вслушиваюсь.

— Немцы... — шепчу в ухо Аре. — Немцы...

Ара, однако, не отвечает. Нижняя губа у него чуть отвисла, рот прикрыт, будто он улыбается во сне. Я съеживаюсь под одеялом и засыпаю снова.

Похоже, я недолго спал. Вдруг мне послышался крик. С испуга я забрался еще глубже под одеяло.

— Ара! — кричит мама.

Она обнимает меня и пытается поднять. Но я крепко держу Ару. Она поднимает меня вместе с ним, и Ара вдруг падает. Голова его стучается о поручень кушетки. У мамы страшные глаза. Я боюсь ее. У нее сваливается шаль с головы, волосы рассыпаются. Она впивается ногтями себе в щеки и кричит:

— Нету Ары!

Отец сидит в углу. Я подбегаю и прячу лицо у него в коленях.

А над местечком стоит мертвая тишина.

У МОСТА

Я постоянно голоден, но родители не должны этого знать. Пищу себе я теперь добываю сам. Вчера мы с Булей уговорились идти воровать картошку. Она уже цветет. Есть и огурцы. Если нам на огородах не повезет, мы отправимся с ним собирать щавель, ломать стебельки лопуха или будем ловить рыбу.

Буля уже стукнул мне в окно, значит, он ждет меня теперь за домом.

На беду, его увидел дедушка.

— Ага, Буля уже явился! Такие времена, а они никак не уймутся! Птички у них в голове!.. Все бы им играть да баловаться!..

Дедушка, заложив руки за спину, стоит у печки. Сейчас лето, печь холодная, а он все стоит, прислонившись к ней спиной; переступит с ноги на ногу, словно ему жарко, и все трется о печку.

Мы живем у дедушки. Дома страшно.

Вот уже несколько дней мои родители справляют траур по Арону: постелили на полу одеяло, положили подушки и сидят без обуви.

— Сжался, Лея! — умоляет дедушка. — Ты нас всех погубишь, Лея!..

Он просит, чтобы мама перестала плакать. Ведь на улице могут услышать: дедушкин дом стоит у самой дороги.

По шляху, между двух рядов низеньких домишек, без конца идут немцы. Когда катят орудия, у нас стекла дрожат в окнах. Проходит много пехоты. Все это направляется на станцию. Там они грузятся в вагоны.

— Чтоб вам туда не дойти и обратно не вернуться! — проклинает их дедушка, плюется и сам себе отвечает: — Аминь.

Я стою за занавеской и смотрю на улицу. Как бы мне хотелось сейчас быть красноармейцем, рубить немцев шашкой, скакать на черном коне по их трупам! Я проехал бы через все местечко с забинтованной головой, и сквозь белую повязку у меня проступала бы кровь. «Ага, видали!» — сказал бы я, и все ребята завидовали бы мне, взрослые качали бы головами, а комиссары пожимали бы мне с уважением руку.

Мама вся в черном, и потому кажется мне еще меньше. Ее сломанная рука в белом гипсе лежит на черном платье, маленькое худое лицо бледно. Правой рукой она оперлась о колено, на руку положила голову и тихо-тихо качается — вправо-влево, вправо-влево.

— Давно ли... — шейчет она, глядя своими черными влажными глазами в одну точку на стене. — Давно ли сшила я Арику плюшевый костюмчик с беленьким воротничком?! Сколько я его ни причесывала, волосы никак не укладывались... И как я его ни учила, он все не мог выговорить «ложечка». Говорю ему: Арик, скажи «ло», он говорит «ло»; скажи «же», он говорит «же», «чка» — он говорит «чка». Скажи, говорю, Арик, сразу «ложечка», а он снова — «лелечка».

— Лея! — снова умоляет дедушка. — Ведь мы не единственные! Нет дома, где не было бы горя!..

И папа ей говорит то же самое. Он лежит, опершись на руку, то вздернет, то опустит бровь и о чем-то разговаривает сам с собой. Он теперь почти такой же, как дедушка: борода белая, вокруг глаз и носа, где нет бороды, лицо ввалилось, глаза ушли вглубь.

— Не единственные мы, — утешает дедушка. — У молочника Мойши был один-единственный сын, его разорвало гранатой. Рефозл, сын сапожника, ушел с большевиками. Даже неизвестно, где он теперь. А Янкель? А Голда Ходоркова? Шайка? Бечек? Да все, все! Либо убиты, либо ушли из дому. Остались чгарые да малые.

Пока дедушка разговаривает, я выхожу на кухню, оттуда пробираюсь в сарай. Сарай у дедушки большой, темный. Только через щели в дверях пробиваются сюда веселые полоски света. Я открываю дверку и, оглядываясь, выхожу в сад.

Буля вскакивает с земли. От восторга он запускает руки в свои нечесанные волосы. Лицо у него все в веснушках, нос картошкой. На Буле красная женская кофточка с буфами. Он всегда приходит ко мне с какой-нибудь новинкой. Однажды он принес мне дохлую ворону. Теперь в руках у него сито. Оно старое, порванное, и Буля залатал его тряпочками. Он протягивает его мне и от радости сам не свой.

— Нашел, — говорит он. — Будем ловить рыбу.

Сито мне нравится. Обычно мы ловим рыбу рубахой. Но это довольно трудно. Удочкой — очень долго. Сидишь, сидишь, а рыба не клюет. А то вдруг какой-нибудь вьюн или пиявка попадется.

В нашей речке уйма вьюнов и пиявок. Но вьюн все равно что червяк: он серый, длинный, головка у него с усиками, и он без костей. Терпеть не могу вьюнов. Не навижу и головастиков. Головастик — это шарик с хвостиком. Из него выходит зеленая лягушка с выпученными глазами.

Иной раз попадается плотица. Это кругленькая рыбка с серебряной чешуйкой и глазами навькат. Зато у нас множество маленьких, длинненьких рыбок, величиной с палец, вроде камсы. Плывут они всегда стайками. Вот их-то я и ловлю. Наловлю полный котелок, прибегу домой, положу на сковородку и поджариваю.

Мама из-за этого сковороды не употребляет. Жарю я их ни на чем, потому что масла у нас нет. Я и не потрошу их. Буля говорит, что у них еще нет кишок. Чуть только они попрыгают на сковородке, я их сразу кидаю в рот.

Больших рыб у нас не водится. Речонка наша неглубока, только войдешь в нее, ноги вязнут. Иной раз я так перемажусь в ней, что маме кажется, будто я из печной трубы вылез. Только местами река у нас широкая, например, у железнодорожного моста, возле тополей.

Вот к этому мосту мы и шагаем сейчас с Булей.

Кроме нас двоих, на улице никого нет. Разве что собака шмыгнет, поджавши хвост, и сразу — под крыльцо. Доносятся выстрелы. Кто-то, услышав наш разговор с Булей, высунул было в окно, но, взглянув на нас, тут же сплюнул. Многие дома вовсе заколочены теперь. Мы можем рвать яблоки в садах, тащить что угодно с огородов, — нигде никого нет.

У Були в деревне убили отца, мать и сестренку, и он живет теперь у бабушки. Бабушки Буля не боится, что хочет, то и делает. Он может даже заночевать на крылечке, никто ему ничего не скажет.

Мы с Булей вообще ничего не боимся. Боимся только шляха, который ведет к вокзалу. Когда хочешь выбраться на дорогу, обсаженную тополями, нужно быстро пересечь шлях. По шляху немцы везут пушки. За каждой пушкой идет много двухколесных повозок со снарядами. Потом снова везут пушки, потом идет пехота, кавалерия. Все они движутся к вокзалу.

Немцы не похожи на большевиков. Они богатые, у них есть что кушать. На головах у них блестящие каски, и лошади у них хорошие. У большевиков они заморенные, худые, маленькие. Но большевиков мы любим, а немцев терпеть не можем.

Мы быстро пересекаем шлях и бежим к тополям. За тополями уже нет еврейских домиков с гонтовыми крышами. Здесь стоят белые хаты, покрытые соломой. Здесь начинается поле, хлеб. Далеко-далеко направо виднеется красная крыша нашего кирпичного вокзала.

Высокие толстые тополя с ветвями, поднимающиеся к горячему летнему небу, обступили с обеих сторон дорогу, по которой мы идем. На этих тополях постоянно

полно ворон. Ветки усыпаны круглыми гнездами. Земля под деревьями бела от помета.

Вороны все лето живут здесь, а осенью улетают в поля справлять свадьбы. В конце осени они перебираются в местечко, селятся на колокольне. В эту пору вороны, сороки, галки подстерегают каждую дверь и с остервенением кидаются на всякие отбросы. Весной они снова улетают к тополям.

Ворон мы не любим за то, что они черные и каркают. Их ведь даже не едят. Буля попробовал есть и говорит, что воронье мясо на вкус что калоша.

Сворачиваем с дороги вправо и по едва видной тропке направляемся к мосту. Вокруг колыхается рожь. Кое-где в поле стоят деревья, растут дикие груши, виднеются одинокие кусты. Ближе к мосту поле кончается. Там в низине растут только осока, лопухи да верба отражается в неподвижной прозрачной воде.

Высокая песчаная насыпь пролегла среди верб и осоки. Желтая, со сверкающими рельсами и семафором, бежит она куда-то в далекую даль.

У семафора начинается мост, он очень красив. Стоит на двух высоких каменных быках. С обеих сторон на нем железные перила. Мост этот постоянно охраняют. Теперь здесь стоит немецкий солдат.

Дорожка, по которой мы идем, очень узка. Буля идет впереди, я за ним. Отсюда нам видны только тяжелые колосья на высоких зеленоватых стеблях. И вот поэтому все и страшлось.

Буля шел впереди и вдруг остановился. Он обернулся ко мне и, вытаращив глаза, прикрыл рукою рот. Я подошел поближе и тоже увидел... Спиной к нам стоял человек и смотрел в бинокль в сторону моста.

У Були вывалилось сито из рук. Оно ударилось об землю и, на наше несчастье, покатилося. Человек встрепенулся, быстро сунул руку в карман, и там что-то щелкнуло. Мы замерли.

Человек глядит на нас и втягивает голову в плечи. Глаза у него широко раскрыты, брови высоко вздернуты и на лбу морщины. Нижнюю губу человек крепко прикусил. Я гляжу на него, он глядит на меня, и он начинает мне казаться очень знакомым.

Постепенно человек опускает брови, морщины на лбу разглаживаются. В глазах у него теперь удивление, а



потом в них мелькает веселая искорка.

— Ошерка, здравствуй! — говорит он. — Рыбу ловить?

— М-ма-гид!

Я подбегаю к нему. Чувствую, что не выдержу, что глаза мои налились слезами. Не хорошо, конечно, мальчику плакать.

— Нету больше Ары! — говорю я и прижимаюсь к Магиду. Я говорю это для того, чтобы он подумал, что я плачу из-за Ары.

— Н-да-а... — тянет Магид.

Он сидит теперь мрачный, обхватив колени руками.

Мы присаживаемся рядом. Буля поглядывает то на меня, то на Магида, шмыгает носом и ковыряет землю пальцем.

Рядом что-то зазвенело, — оказывается, в яме за кустами стоит оседланная лошадь. Ей жарко, она мотает головой и позвякивает уздечкой.

Возле Магида лежит винтовка. Сам он какой-то другой, не тот, что раньше. Лицо у него небритое, глаза красные, лоб в испарине. Но больше всего меня удивляет его одежда. Где его синие галифе с желтыми кожаными леями? Где гимнастерка с красными нашивками? Где его кожаная тужурка? Где револьвер, который висел у него на ремешке? На Магиде старый пиджак, весь в заплатах, и папины старые штаны. Мне очень обидно за него.

— Товарищ Магид, — говорю я, — почему вы не носите галифе? Зачем вы надели папин пиджак?

— Да просто так, Ошерка, — равнодушно отвечает Магид и вдруг спрашивает: — Кто занял наше местечко?

— Буржуи, — говорит Буля.

— Немцы, — отвечаю я и пододвигаюсь ближе к Магиду.

— Ну, как по-твоему, если немцы увидят человека с красной звездочкой, что они с ним сделают?

— Убьют, товарищ Магид.

— Не убьют, — говорит Буля и рассказывает, как на вокзале немцы поймали одного красноармейца-китайца,

с красной звездочкой и в галифе. Они ножом вырезали у него красную звезду на груди.

— А почему, товарищ Магид, все большевики ушли, а вы остались?

— Эх, Ошерка!.. Почему остался?.. — И Магид мнет-ся, начинает плести какую-то чепуху, будто у него лошадь устала, что он проспал и так далее.

— Но ведь когда отступала Красная Армия, все ушли. Остались только старые да малые.

— А ты? — спрашивает вдруг он меня. — Почему ты остался?

— Я еще маленький. Когда вырасту, я тоже уйду с Красной Армией, я тоже не останусь у немцев.

— Что-о? — смеется Магид. — Что ты говоришь? Ха-ха... Ты что же думаешь, немцы доживут здесь до тех пор, пока ты вырастешь? Нет, Ошерка, они раньше подохнут!.. Ну, а ты что скажешь, сорванец? — поворачивается он к Буле.

— Я Буля, а не сорванец.

Буля доволен. А когда он доволен, у него всегда морщится нос. Буля не привык, чтобы взрослые по-хорошему разговаривали с ним.

— Выходит, стало быть, что вы скучаете по большевикам.

— Да! Не люблю я немцев!

Я вскакиваю и, размахивая руками, показываю, как я их ненавижу и как я, когда вырасту...

— Тише! — перебивает меня Магид и притягивает к себе. — Садись! Надо сесть... в тень. Нельзя стоять на солнце, нельзя громко кричать. Голова сильно заболит.

Мы тихо лежим втроем под кустами. Ветерок играет в колосьях. Как всегда в горячие летние дни, в воздухе плывут прозрачные паутинки. Жаворонок, быстро прошепестев крылышками, повисает на несколько мгновений над нами, затем ныряет вниз и сразу пропадает в хлебах. В реке перекликаются лягушки: начнет одна, отзовется другая, третья.

Магид подложил руки под голову и смотрит в небо.

— Хорошая страна Украина! Эх, и хорошая страна, ребята! — негромко говорит он и вдруг перекачивается на живот и подпирает обеими руками голову. — Много немцев в местечке?

— Ох и много! — отвечаю я.

— И пушек! — говорит Буля

— Много лошадей...

— Лошади у них лучше, чем у большевиков, — говорит Буля. Он доволен, что Магид обращается к нему. — Они все идут на вокзал и грузятся в товарные вагоны.

— И на площадки тоже... — добавляю я. Как это можно, чтобы Буля один все рассказывал?!

Но Магид уже не слушает нас. Он приподнимается, оглядывается. Сквозь редкие листья вербы виден семафор и железнодорожный мост. По мосту взад и вперед ходит солдат. Слышно, как на станции погромыхивают вагоны, свистит паровоз. Этот свист медленно замирает в тихом летнем воздухе.

Магид вздрагивает. Он отгибает рукав, поглядывает на часы. Затем он подползает к лошади, отвязывает ее, снова привязывает и опять смотрит на часы. Сорвав прутик, он пристально глядит на нас и, сам не замечая, ломает его на мелкие кусочки.

— Что же вы сидите? Почему не идете домой? — внезапно спрашивает он нас. Потом приставляет ладонь к уху и прислушивается.

— А мы не домой идем. Нам нужно на речку, под мост.

— Нет! — Он берет меня за руку и говорит строго: — Не нужно!.. Нельзя под мост!.. Нехорошо сейчас ловить рыбу!..

— А я пойду! — Буля встает, схватывает сито и готов бежать.

— Эй, парень! — Магид приходит в волнение. Складка ложится у него между бровями, и пальцы сжимаются. — Сиди! — приказывает он.

Буля садится и поглядывает искоса на Магида. Я знаю, он готов каждую минуту убежать. Я тоже отодвигаюсь подальше от Магида.

— Какие вы, однако, озорники! — говорит Магид. Чуть заметная усмешка появляется на его сосредоточенном лице. — Вы боитесь меня?

— Нет, — отвечаю я и отодвигаюсь еще дальше.

— Ну что ж... Мне пора ехать, — говорит Магид. Он срывает прутик и хлещет им в воздухе. — Трудно только подгонять лошадь хворостинкой. Если б мне плетку раздобыть или хлыст! Слушай, Ошер, ты, кажется, умеешь делать хлысты из телефонного провода?

Не понимаю, при чем здесь телефонный провод? Мы ведь говорили о рыбе. И еще удивляюсь я Магиду: разве можно добыть телефонный провод у немцев?

— Как, — восклицает Магид, — у вас нет телефонного провода?! Эх вы, а еще спартаковцы! Провода можно раздобыть сколько угодно.

Заслышав о телефонном проводе, мы с Булей не знаем, куда деться от радости. Провод, солдатские фуражки, звездочки, пули, гильзы, противогазы, штыки, шрапнельные осколки — все, все, с чем возьтятся на войне, приводит нас в восторг, мы без ума от этого.

Но Магид выматывает из нас душу. Он долго смотрит на нас. Лицо его постепенно веселеет. А может быть, это нам так кажется?

— Только не спешить, ребята! — говорит он. — Провода вам хватит... Скажите, речку у моста вы знаете?

Это прямо-таки смешно: чтобы мы да не знали речки! Буля даже закатывается.

— Понятно, — говорю я, — знаем.

— Ну, очень хорошо, — отвечает Магид. — Только не спешить, ребята!.. Вербу знаете, что влево от моста? Старую вербу с дуплом, у которой корни торчат из воды. Значит, знаете, какая?

— Ну да, — говорю я, — из нее еще две вербы растут.

— Далеко только это от моста, — замечает Буля.

Зашевелились листья, зашуршали вокруг колосья. Лошадь встряхнула головой, зазвенела уздечкой.

— Ничего, ребята, там тоже рыба есть.

Магид берет лошадь за морду и придерживает ее.

— Так вот, там как раз возле вербы лежит провод... Много его... Только... вы видели: красноармейцы, когда им нужно собрать провод, наматывают его на катушку...

— Да, — говорю я, — они вертят ручку.

— Правильно! Ты, оказывается, знаешь. Так вот, в дупле там лежит катушка. И нужно провод намотать на катушку. Но это нужно делать тихо. Слышите, ребята? Очень тихо. Немцы злые, они ходят по мосту... Только руками не тянуть. Понятно? Ну, давайте, ребята!

Мы с Булей поднимаемся и хотим идти. Но Магид задерживает нас. Он смотрит мне прямо в глаза. Я еще никогда не видел, какие они глубокие и грустные у него. Он притягивает к себе Булю. Обнимает нас обоих.

Я ощущаю на своей щеке его колючее, небритое лицо. Он, кажется, поцеловал меня.

— Ничего,— говорит он,— ничего! Мы еще с ними покрываемся! Идите, ребята! Я вас буду ждать.

После этого он поворачивается и скрывается в кустах.

Я едва сдерживаю себя, чтобы не пуститься бегом. Очень уж мне хочется поскорей увидеть провод, и еще потому, что мне очень хорошо и я люблю Магида.

Ближе к мосту растет густая трава, лопухи, поросль вербы, клена. Мы тонем по горло в траве. Мягкая, влажная земля выжимается между пальцами ног и повизгивает. Вот мы испугали лягушку, и она прыгнула в воду. Пошли большие круги. Широкие листья на длинных толстых стеблях закачались на воде. Затем вновь тишина. А когда становится совсем спокойно, мы видим, как деревья, небо, насыпь отражаются в реке. И все вверх ногами — даже я и Буля, даже мост. Два больших гранитных быка стоят в воде и кажутся вдвое больше. Видны шпалы, перила моста. Даже немецкий солдат ходит в воде вниз головой.

Сквозь листву нам очень хорошо виден этот солдат. Он похаживает в своих тяжелых подкованных башмаках, держа под мышкой винтовку, и все смотрит, смотрит. Но нас он не замечает. Трава очень высока и закрывает нас. А та старая верба, о которой говорил Магид, растет совсем не возле моста, а довольно далеко от него.

Но вот мы добираемся до нее. Я и сам не знаю, почему мы шагаем так осторожно. Мне все время кажется, что Магид идет следом за нами. Вот только что шевельнулся куст. Но Магида нет.

Наконец-то мы у вербы. Осторожно раздвигаем руками траву, молодую поросль вербы. Нет провода. Ага, мы его обнаружили. Он, оказывается, лежит среди коряг на дне реки и тянется куда-то вправо.

— Гляди, он идет к мосту,— показывает Буля.

Буля подворачивает штаны и спускается в реку. Вода сразу мутнеет. Провода уже не видно. Но если бы даже вода не замутилась, я бы все равно не дал ему тащить провод. Ведь Магид велел наматывать провод на катушку.

Пока Буля торчит в воде, я подхожу к дереву. Внизу у корней дупло, оно идет до самого верха. Заглядываю внутрь, но там ничего нет. Оттуда выползает гусеница; она ворочает головой и, сжимаясь и разжимаясь, поти-

хоньку перебирается на листок. Я засовываю поглубже руку в дупло, разгребаю накиданную там траву, веточки и вытаскиваю какую-то странную машинку. Никогда еще не видал, чтобы красноармейцы наматывали провод на такую катушку.

— Буля! — шепчу я.

Буля подбегает и раскрывает рот.

Машинка состоит из двух стальных подковок. Они покрыты черным лаком. Внутри медь, которая блестит, как золото. Посредине железный стерженек, и на него намотана тоненькая медная проволока. А ручка белая, никелированная. Провод прикреплен к катушке двумя винтиками. Потихоньку начинаю вертеть ручку. Внутри тоже что-то вертится, но провод не наматывается. Буля вырывает машинку у меня из рук, он тоже хочет покрутить. Буля говорит, что крутить нужно быстрее, тогда наматается.

Мы чуть было не подрались. Но тут раздался гудок паровоза. Мы даже подскочили от неожиданности. Справа от вокзала, пуская клубы дыма, неся паровоз, а за ним бежало много-много вагонов.

И тут нас заметил солдат на мосту. Он начал что-то кричать и помчался по насыпи, прижимая винтовку к плечу. Вот он все ближе, ближе. Буля юркнул в траву, а я не успел.

Внезапно из-за куста высунулось дуло винтовки. Я увидел страшную черную дырочку. Незаметно раздвинулись ветки, зашелестели листья, и около меня оказался не кто иной, как Магид. Винтовка прижата к щеке, левый глаз у него прищурен, правый открыт и смотрит на мушку. Солдат бежит по насыпи, вот он уже близко... И тут меня оглушило. Солдат остановился на мгновение, покачнулся — и давай кувыряться с насыпи, а потом — бултых в воду. Только круги пошли.

Паровоз несется вперед, и выстрела не слышно. В глазах рябит от мчащихся вагонов. Их четырехугольные тени несутся друг за другом. Бегут вагоны, платформы, пушки, пулеметы, мелькают лица, френчи, поблескивают каски. Черный густой дым стелется над рекой. Сейчас паровоз пойдет по мосту.

Слышу, Магид зовет меня:

— Ошерка! Ося!

Он прикрывает одной рукой рот, а другой вертит в воздухе, как бы приказывая: «ВЕРТИ катушку!»

Верчу изо всех сил. Поскорей бы уж намотать этот провод и убежать! Что-то, кажется, сверкнуло у меня в машинке. Паровоз, слышу, уже на мосту. Колеса стучат сильнее, чем на насыпи.

Верчу катушку, верчу все быстрее, быстрее. И вдруг меня как подбросит! Дрожит земля. В желтых коричневых клубах дыма рвется, лязгает, взрывается мост. Прыгают вагоны. Перевернутый паровоз вращает в воздухе колесами.

Но тут чувствую, кто-то тянет меня за руку. Это, кажется, Магид.

— Бросай динамик!

— Какой динамик?

— Ошерка, беги домой! — обнимает он меня. — Не бойся, беги!

Я пускаюсь бегом за ним, но Магид уже далеко. Он скачет верхом, оборачивается и машет мне рукой. Вот он уже в хлебах. Покажется на мгновение и вновь пропадет. Потом я его вижу еще раз. Черным шариком выглядывает он в поле и сразу пропадает у горизонта.

У Були только пятки сверкают. Он бежит, а я за ним. Над тополями черно от ворон. Вороны перепуганы. Позади нас не перестает тарыхтеть, вагоны горят и взрываются.

Уж не помню, как я добежал до дома, как ввалился в комнату.

Мама обнимает меня, что-то говорит, но я ничего не вижу, ничего не слышу и только кричу:

— Вертел!.. Взрывается!.. Вертел!.. Взрывается!..

Мама кричит: у нее было шестеро детей, остался только я один.

— Ошерка! — повторяет она беспрерывно. — Ошерка!

Но я уж ничего больше не слышу.

КАК ЗАКАТИЛОСЬ ДЕТСТВО

Я лежу у дедушки на широком топчане. У меня тиф. Мне жарко. Хочу сбросить с себя красное ватное одеяло — и не могу. Два низеньких окошка занавешены, в комнате полумрак. От зеркала, что стоит в углу, на стене зайчики, и я не могу от них глаз оторвать. Меня

это мучает. Знаю, что это в бреду, и ничего не могу поделать.

— Узнаешь меня, Ошерка?

На меня неподвижно смотрят мамыны глаза.

— Мама! — отвечаю я.

Мама плачет. Дедушка выводит ее из комнаты.

Сквозь полуопущенные веки вижу, как отец шагает из угла в угол. Однообразно скрипят под его ногами половицы.

— Скверно, — говорит дедушка. — Ребенок весь горит,

Хочу возразить, сказать, что это неправда, но не могу.

На меня надвигается прозрачная белая гора. Она спускается с потолка и становится все больше, все страшнее. Я хочу спрятаться, убежать, закрываю лицо руками. Хочу, чтобы отец удержал гору, и кричу. Потом все проваливается куда-то, и меня нету.

Временами я прихожу в себя, но никак не соображу, что со мной. То ли все это мне кажется, то ли это явь. Моя затуманенная голова полна выстрелов, взрывов, опрокинутых вагонов.

Однажды, открыв глаза, я уловил далекое буханье орудий и снова подумал, что это бред.

— Стреляют? — спрашиваю я.

Никто не отвечает. Кажется, мамина маленькая рука лежит у меня на лбу.

Где это я, однако, нахожусь? Не видно занавешенных окон, нет зайчиков на стене. Это не комната. Почему здесь сосны?

— Это лес, мама?

— Лес.

— Это большевики стреляют?

— Большевики, Ошерка... Немцы бегут!..

Хочу подняться, спросить, но мне вливают что-то горькое в рот. Приподнимаюсь, чтобы выплюнуть. Внизу — черные и рыжие узловатые корни, а сверху — светлый простор, стройные сосны. Меж деревьями лежат люди. И дедушка сидит здесь, опершись о ствол.

Чувствую, как меня поднимают и несут. Возле меня шагает мама. По дороге бегут и кричат: «Большевики! Наши пришли!» Отец велит маме раздвигать ветки. Листья скользят у меня по лицу. Отец наклоняется, и меня щекочет его борода. Открываю глаза и узнаю

наше местечко. В небе плывет круглая луна, стучат колеса, кокают подковы, кто-то кричит «ура».

Опять на меня надвигается гора. Слышу, как меня зовет мама, как она плачет, но ничего не могу ей ответить.

Мне очень нравится быть больным. Никогда со мной так хорошо не обращаются, как во время болезни. Я лежу на чистой простыне, мама, папа, соседи сидят вокруг. Мне тогда очень хорошо, и я всех люблю. Но сейчас мне хочется поскорей выздороветь и встать: меня тянет на улицу.

Я лежу в нашей больнице. Вечер. Далеко где-то слышен сильный топот, видимо, идут войска, а может быть, это демонстрация. Плывут и дрожат в тишине знакомые песни. Я не могу больше лежать, мне хочется усесться на каменные ступеньки больницы и хоть издали смотреть, как проходит Красная Армия, как тянутся ее обозы, провозжать их глазами и махать красноармейцам рукой.

Сбрасываю с себя одеяло, сажусь. В больнице тихо. Тру глаза обеими руками. На белом столике у кровати полно пузырьков, сбоку лежит несколько яблок и булочка.

У окна в белом халате дремлет мама. Она сидит ко мне спиной, уткнувшись лицом в руки. Если б я не знал, что это мама, я бы подумал, что это маленькая, худенькая девочка.

Я спускаю ноги с кровати, стою на полу в длинной рубашке с черным армейским клеймом. Мне хочется подойти к окну. Там, за стеклом, мне кланяется какое-то дерево. Но я не могу двинуться с места. У меня кружится голова, темнеет в глазах, и я валяюсь на подушку.

Мама сразу просыпается.

— Ошерка, бедный ты мой сыночек! — Перепуганная, она обнимает меня. — На кого ты стал похож! — А глаза у нее и плачут и смеются.

— Мама, давно? — Я, показывая на окно, откуда плывет песня.

— Ого! — отвечает мама и зажигает свечу. Она поправляет подушку и принимается кормить меня с ложечки. — Всех прогнали! И следа не осталось. Ох, и бежали они! Ох, и удирали! — Мама смеется, и что-то уверенное, спокойное слышу я в ее смехе. — И Магид был

здесь. Видел бы ты Магида, дай ему бог здоровья!

— Ма-агид! — Я отталкиваю мамину руку. Мне хочется плакать: почему же меня не разбудили, когда приходил Магид?

— Да ведь ты был болен! Ему нельзя было говорить с тобой!

И мама рассказала, как Магид подъехал к больнице. С ним было много верховых. Но доктор не позволил ему войти, так что Магид только посмотрел на меня в окно и оставил для меня булочку и несколько яблок.

— Он велел тебе, Ошерка, передать привет, когда выздоровеешь. Потом помахал мне шапкой и уехал на фронт. Я ему тоже помахала рукой.

Мама говорит тихо. В глазах у нее то затеплятся, то погаснут огоньки. Вот она радостная, затем снова грустная. И все говорит, говорит о Магиде.

Я закрываю глаза и вижу перед собой его узкое, небритое лицо, его фуражку с растрескавшимся козырьком; вижу всадников, красное знамя, ремни на плечах; и как Магид покачивается в седле. Мне тоже хочется с ним попрощаться. Я машу ему рукой.

— Мама, — говорю я, — перед смертью Ара помахал ему рукой и пожелал успеха.

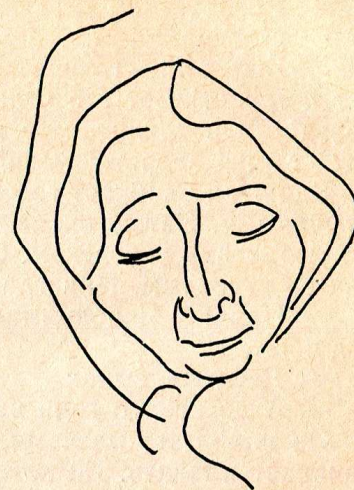
Не знаю, зачем мне нужно было напомнить об Аре. У мамы дергаются губы, она изо всех сил старается не заплакать и все-таки плачет.

— Пусть Магид живет долгие годы!.. — Она утирает глаза уголком платка и отходит к окну.

За окном зашуршала ветка. Кто-то забрался на завалянку.

— Так, Ошерка, так! Хорошо! — В окне появляется отец. Он долго разглядывает меня, и у него веселеют глаза. — Ну ты совсем молодец! — говорит он и сообщает, что видел Булю и Зяму, они уж не дождутся меня.

— А его видел, папа?



— Кого?

— Магида.

— Еще бы! — говорит отец. — Еще бы!.. Пусть ему бог поможет! Вот это человек! Дай бог им всем здоровья! — Он глядит мне в глаза и кивает головой. — Чтоб вы все здоровы были!..

Вдруг он начинает говорить тише, глаза делаются задумчивыми. Затем он заявляет, что я, с божьей помощью, стану человеком. Отец беседует со мной, совсем как со взрослым. Никогда раньше этого не бывало.

— Папа! — Я поднимаю на него глаза. — Какой мне год пошел?

— Десятый, сынок.

— А до какого года человек считается ребенком?

Он пожимает плечами, а мама, ни с того ни с сего, начинает плакать. Ей хотелось бы, говорит мама, хоть от меня дожидаться какой-то радости. У нее было шестеро детей, и вот...

Отец сердито покашливает.

— Ох, эти бабы! — грозит он ей пальцем. — Обязательно надо расстроить!

Отец хочет сказать маме еще что-то неприятное, но тут открывается дверь и входит сестра. У нее крест на халате, и она очень строгая. Она велит отцу уходить и не расстраивать больного.

Отец желает мне покойной ночи и удаляется.

Мама поправляет мою постель.

— Кто плачет? — спрашивает она. — Разве я плачу? — и незаметно утирает глаза уголком платка.

Утром меня должны выписать из больницы. Поскорей бы! Никак не могу уснуть. Долго ворочаюсь под одеялом, наконец, не выдержав, подхожу к окну.

Еще ночь. Черные деревья больничного сада заслонили небо. С бьющимся сердцем ловлю цокот копыт и грохот повозок. Все еще идет Красная Армия.

Отец явился, едва занялась заря. Я ждал его уже одетый.

Одежда стала мне велика. В коридоре, в зеркале, я увидел себя. Меня постригли, и шапка падает мне на глаза; щеки ввалились, кожа стала тонкой, бледной, и голубая жилка, точно веточка, бьется у меня на виске.

— Пустяки, Ошерка! — говорит отец. — Лишь бы живым остался!

Он берет меня под руку, и мы спускаемся по каменным ступенькам в больничный двор. Заложив руки в рукава, мирно спит на скамье больничный сторож. Мы не хотим его будить. Тихонько открываем калитку и темной предрассветной улочкой идем к местечку. В маленьких оконцах соломенных мазанок зажигаются огоньки. Там встают на работу.

Где-то скрипнула дверь. Со двора выходят корова и телок. И вот уже пестрое стадо чернух, пеструх и буренок бредет на пастбище, покачивая головами и мыча.

Рассветное небо еще даже не заалелось, оно налито серебром, точно река под луной. Прохладно. Легкая дрожь пробегает по моему телу.

— Холодно, Ошерка?

— Нет, — говорю я и тяну его поскорей к шоссе.

Однако идти быстро я не могу. И мне это теперь по душе после болезни. Не знаю почему, но я чувствую себя как-то увереннее, старше. Я даже говорю теперь тише и не тороплюсь, как бывало раньше.

— Значит, ни одного петлюровца, ни одного немца не осталось?

— Прогнали ко всем чертям!.. Как они удирали! Убить, ограбить — на это они мастера... Ах, что тут творилось, Ошерка! — Отец хмурится, и его белая борода, как комок снега, рассыпается по черному сюртуку. — Это никогда не забудется. Никогда! И ты, сынок, запомни это! Горе наше запомни! Убитых запомни! И не прощай!

Я вздрагиваю от последних его слов. Мне вспоминается вечер после прихода петлюровцев. Магид обнял меня тогда и наказал: «Плач запомни! Убитых запомни! Запомни все!»

Я останавливаюсь и смотрю на отца. Он идет медленно, сутулится. На лице его какое-то новое, необычайное выражение. Никогда еще он не говорил так со мной. Чувствую, что в моей жизни произошло что-то важное.

— А теперь конец им пришел! — говорит он.

— Конец! — отвечаю я и догоняю отца.

Держась за руки, мы входим этим ранним утром в местечко.

Только что пробудившиеся воробьи возятся в конском навозе. Красноармеец с плаката смотрит на меня

и зовет с собой. Из-за искалеченных деревьев выглядывает дом с сорванной крышей и обгорелой трубой. Кругом тишина, как после бури.

Медленно шагаем мы мимо домов. Там, за пожарной каланчой, небо все больше разгорается, все ярче пламенеет. Уже солнце встает над крышами.

— Какое утро, папа! — Зажмурившись, я показываю отцу на крыши, на шлях, который убегает куда-то вдаль.

— Да, Ошерка, замечательное утро!

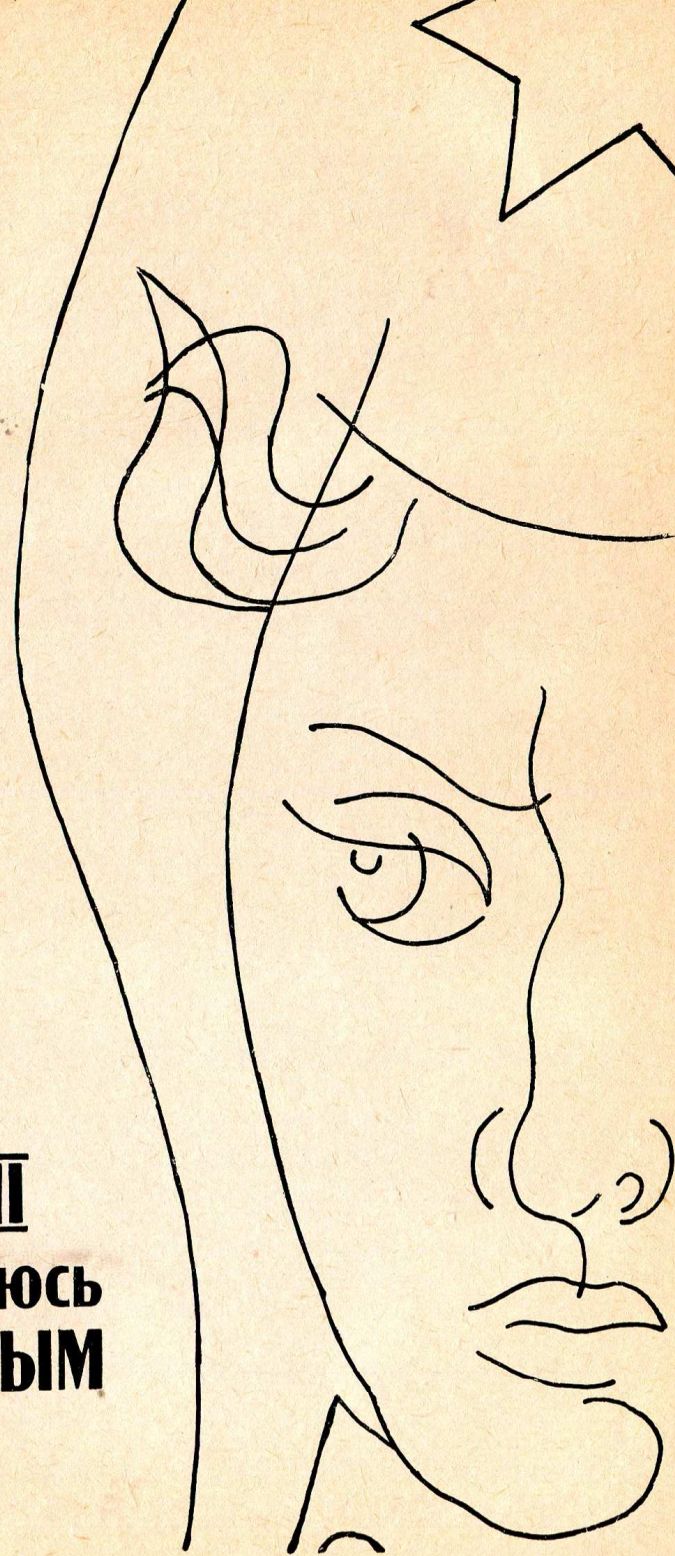
Небо становится огненным, кровавым, потом оно сразу светлеет, и вдруг чем-то сверкающим наполняется воздух. Я даже не замечаю, как приходит день.

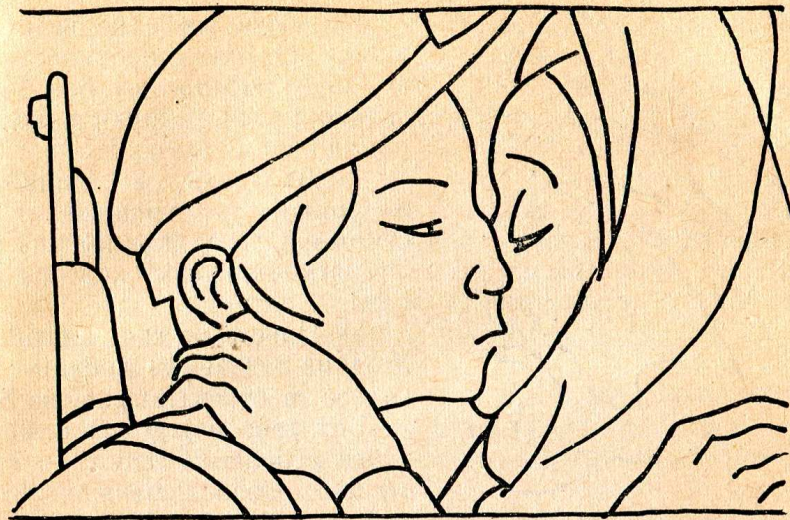
Не раз я, бывало, вскакивал ночью, становился у окна и все искал полоску, отделяющую ночь от дня. Никогда, однако, я этой грани не находил.

В последний раз оглядываюсь назад.

Где-то по ту сторону бури кончилось мое детство.

Я ^{часть II} становлюсь ВЗРОСЛЫМ





С ФРОНТА

Мы сидим с Йосей на обочине дороги, ведущей в наше местечко. Вдали виден тонущий в песке фаэтон. Он с трудом взбирается на гору и исчезает в облаках пыли меж далекими, уже сливающимися дубами.

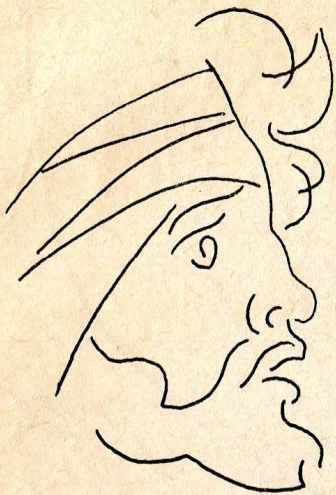
В фаэтоне сидят Голда Ходоркова, начальник милиции Рябов и наш новый секретарь парткома Ищенко. До этого мимо нас проскакал отряд кавалеристов. Все они спешат в соседнюю деревню: вчера там убили председателя райисполкома и нескольких красноармейцев.

Увидев меня, Голда вышла из фаэтона.

— Ошер,— сказала она строго,— сейчас же отправляйся домой!

— Отправился бы, товарищ Голда, да колесо сломалось.

— Йося, что это значит! — закричала она. — Вы издеваетесь над нами?



Но Йося вовсе не издевается. Он даже побаивается Голды. Йося стоит, беспомощно раскинув руки и переминаясь с ноги на ногу.

— Да ведь нынешний материал!.. — оправдывается он. — Спят как-нибудь. Сгореть бы этим колесникам!

— Ничего не хочу знать! Хоть из-под земли добудьте колесо и отвезите ребенка!

Вот тебе на! Я уж стал у нее ребенком! Что такое? То она обзовет меня дылдой, то я превращаюсь у нее в младенца.

Но я уже не младенец, я председатель товарищеского суда и даже не боюсь сидеть один у околицы местечка, хотя вечереет и вот-вот закатится солнце.

Как только мы добрались до дороги, у возчика Йоси сломалось колесо. Я чуть не разревелся. Но Йося-провидец, как его зовут, почесал в затылке и спокойно заявил, что поспешность хороша при ловле блох.

И он действительно не спешил весь этот субботник. Все возы с лесом уже давно в местечке, а Йося, взвалив на повозку бревно, каждый раз садился отдыхать, все чинил свое снаряжение и с полдня искал лошадей.

Голда, однако, заставила его пошевеливаться.

— Чтоб вам пропасть со всеми вашими школами! — ругается Йося и принимается сбрасывать с повозки валежник, щепу, а затем и бревна.

Я еще в лесу сказал ему, что нам не нужен валежник; мы строим школу, и нам требуется кругляк. А он мне тут же отрезал — чтоб я ему не дерзил, что он не обязан грузить бревна и вообще он хотел бы знать: кто из нас старше.

Йося достаточно стар, но его всклокоченная борода, растущая из носа, из ушей, и даже из-под самых глаз, еще даже не седа. Этот возчик достаточно крепок, и в местечке его боятся. Собственно, боятся не его, а сына Исайку, ставшего настоящим бандитом. Сам Йося ни

с того ни с сего заделался провидцем. За деньги он может указать, где находится украденная лошадь, где на дороге лежит убитый; может даже предсказать заранее, где и у кого будет произведен поджог.

— Да провалитесь вы ко всем чертям! — кричит Йося.

Мгновенно уставший, он садится снова на землю и кутается в свои ватные одежды, которые усыпаны репьем и колючками, оттого что он целый день валялся там, в лесу. Лазая по куче валежника, я многозначительно покашливаю: боюсь, как бы мой возчик вновь не уснул.

Его две клячонки свесили головы и уже давно спят. Изредка они проснутся, звякнут уздечками, отгоняя комаров, которые с плачем носятся в вырубленном лесу, и снова засыпают.

Начинает заходить солнце. Широкие, косые слепящие полосы падают сверху, искрятся в песчинках на дороге, просвечивают насквозь оставшиеся на полянке считанные деревья, которые уже становятся бурыми, желтеют.

Деревьев осталось совсем мало. За зиму весь лес вдоль дороги повырубили. Везде торчат пни, которые уже успели почернеть. Между пнями растет новый лес. Молодые сосенки и побеги дуба за лето обогнали высокий папоротник.

Я, конечно, давно уже мог уехать с какой-нибудь подводой, везущей лес, но мне хотелось, чтобы все видели, что я не боюсь здесь остаться. Мы доберемся до школы, наверное, только к ночи.

По правде говоря, чем ближе к ночи, тем мне становится страшней. Но если б меня резали на куски, я и тогда не признался бы в этом. Наоборот, засунув руки в карманы, сплунул бы и заявил, что никого и ничего не боюсь; помер бы от страха, но все же остался бы здесь ночевать, чтобы доказать, что я не трус.

В мучительном и сладком волнении сижу я у дороги, на которую ни один человек в местечке не осмелится выйти к ночи.

Правда, банд уже нет, но отдельные грабители пошатаются. Еще гуляет Богдан-прасол, прячущийся по лесам; Исайка, сын Йоси, и его компания еще нападают на запоздалых прохожих, грабят и даже убивают. Однако

Исайки я не боюсь. Я с ним знаком, да и папаша его сидит рядом.

Но вот Йося начинает почесываться. То ли ему захотелось чаю, то ли его поднял расплакавшийся сыч, но он встает, подтыкает полы своей одежды и медленно шагает в гору по песчаной дороге.

— Иду за колесом в деревню. Колесовали бы всех вас! — бурчит он. — Нашли богача!.. Обеспечь их колесами!..

Я остался один-одинешенек. Пододвигаюсь поближе к лошадям. С лошадьми все-таки не так страшно. Хорошусь в папоротнике и с удовольствием думаю о том, как завтра буду рассказывать свои приключения: остался один в лесу, наткнулся на убитого, видел самого Богдана.

Но от этих выдумок мне становится страшно. Оглядываюсь по сторонам. Вообще-то я не трус, но со времени петлюровцев всегда на всякий случай примечаю, где бы мне можно было укрыться от нападения.

От солнца уже осталась половинка. Над дорогой висит кусок оторвавшегося прозрачного облака с окровавленными концами. Вот вóрон, каркая, пролетел в чашу. Вслед ему с криком пронесся другой, третий.

Высовываю из папоротника голову. Хоть бы кто-нибудь был поблизости. Поговаривают, что по вечерам здесь куролесит Богдан. Ну да, вот он, кажется, идет! Волосы, как булавки, колют мне кожу на голове. Нет, Богдан высокий, толстый, а этот... Нет, это не Богдан!

На дороге, которая упирается прямо в заходящее солнце, появился человек. Его очень хорошо видно. Он расколот солнечное колесо и точно весь тонет в огне. Я задал бы деру, да не смею бросить лошадей, которых Йося препоручил мне.

А человек все ближе и ближе. Он уже шагает не по дороге, а обочиной, где меньше пыли. Я даже вижу, что у человека мешочек за плечами, вижу, как он утирает рукою пот со лба и сворачивает ко мне.

Испуганный, нисколько не размышляя, а может быть, надеясь, что человек этот не посмеет подойти, если услышит, что со мной тут люди, я принимаюсь кричать изо всех сил:

— Йос-я! Голда Ходорко-ова! Зяма-а! Исайка, скорей сюда!

А голос у меня звонкий, и со всех сторон, точно передразнивая, отвечает мне оглушительное эхо: «Сюда!»

Даже тшедушные клячи, похожие на облезлых кошек в упряжке, всполошились и наострили уши.

Но, как назло, чем громче я кричу, тем веселее шагает человек.

Больше кричать я не могу. Кидаюсь под повозку и зарываюсь с головой в хворост. Зажав рот рукой, чтобы не слышно было даже моего дыхания, я чуть-чуть высовываю голову между спиц колесá и гляжу на дорогу. Но человека мне не видно.

Наконец две ноги в обмотках и запыленных солдатских башмаках останавливаются подле лошадей. Некоторое время они стоят неподвижно, затем, потоптавшись на месте, начинают тихонько поворачиваться. Видно, человек оглядывается по сторонам.

— Что за черт? — слышу я, как он говорит сам с собой. — М-да... Йося!.. Йо-о-ся! — кричит он во весь голос. — Исайка-а! Ходорко-ов!

Заслышав, что человек зовет тех же людей, я чуть дальше просовываю голову.

Вот подле меня шлепнулась фуражка. Потом на землю упал вещевой мешок. Лошади, видимо, перепугавшись, потянули повозку, и колесо чуть не свернуло мне шею.

— Ой! — кричу я и выскакиваю сам не свой из-под повозки.

— Что такое? — вскрикивает тоже, видимо, перепугавшийся человек.

— Ой-ой! — ору я, ухватившись за шею, которая страшно болит.

— Чего ойкаешь? И почему ползаешь под повозкой? — Меня оглядывают с ног до головы черные хмурые глаза.

— Спа-ал, — говорю я, заикаясь, и, не спуская с человека глаз, отодвигаюсь от него подальше.

Передо мной стоит невысокого роста парень. Фуражка его с красной звездочкой лежит на земле. Его бритая голова значительно бледней загорелого лица. Он снова и снова утирает лоб рукавом измазанной, мокрой от пота рубашки.

— Чудной парень! — говорит он. — Разве можно там спать?! — и пожимает плечами. — А где Исайка, Йося?

— Какой Исайка?

— То есть, как какой?

— Нет здесь никакого Исайки.

— Но ведь кто-то кричал.

— Не знаю.

— А где Голда?

— Я здесь один, — отвечаю. — Сломалось колесо, и Йося пошел добывать другое.

— Ладно. Пусть будет так. Видно, я на старости оглох. — И он устраивается в придорожной канаве.

Размотав обмотки и сбросив ботинки, человек вытягивается во всю свою длину. Красные разопревшие ноги с торчащими у больших пальцев косточками сейчас выше его головы.

— Ну и находился же я! — Человек разглядывает меня. — Ты чей?

— Леи, что замужем за Элей.

— Как тебя звать?

— Ошер.

— Мать моя! — кричит он радостно. — Ошер, клади свою лапку. — И он сует мне руку. — Как же ты, однако, вырос! А меня не узнаешь?

— Нет! — отвечаю я. — Я вас не знаю.

— Неужели я так состарился? — спрашивает он и, прищутив один глаз, весело сплевывает сквозь зубы.

— Бечек! — кричу я. — Ты Бечек?

— А кто же? Конечно, Бечек.

И точно, как в те времена, когда я умолял извозчика Бечека разрешить мне подержать вожжи или напоить лошадей, завидовал его искусству плевать сквозь зубы, я теперь поддвигаюсь к нему поближе, гляжу ему в глаза и смущенно улыбаюсь.

Но пусть он не думает, что я мальчишка. Я тут же рассказываю ему, что учусь в школе, являюсь председателем товарищеского суда.

— Что такое?

— Я — судья, судья! — поясняю я ему. — Председатель. Если, например, Буля побил Рахиль или Сролик отказался нарвать ботвы для кроликов, — мы их судим.

— Почему для кроликов?

— Потому что в школе у нас кролики... и корова... и лошадь. Мы строим теперь дом для школы. А я председатель товарищеского суда.

Выслушав меня, Бечек переводит глаза сначала на мои волосы, которые я тут же принимаюсь приглаживать, чтобы пробор получился посередине, затем на мои заскорузлые штаны.

— А я, Ошерка, воевал.

— С фронта? — поддвигаюсь я к нему ближе. — Идешь с фронта?

— Откуда же мне идти? Вот двигаюсь из Гуляй-поля. Был даже в Екатеринославе. Поглядел бы ты — кругом степи, степи! Таких мест, как у нас, там нету.

Бечек говорит все тише и уж не глядит на меня. Его загорелое лицо вытянулось, черные горящие глаза ввалились. На лице торчат редкие белесые волосики.

— Да придет наконец твой Йося? — вскакивает он вдруг. — До каких же пор мы здесь будем сидеть?

Но лишь когда в небе загорелись первые звезды и сверкнули огоньки далекой деревни, появился Йося: он неспешно катил перед собой колесо.

— Как он ползет, черт бы его побрал! — ругается Бечек и принимается наворачивать портянки на ноги.

Надев ботинки, он ставит ногу на колесо и закручивает обмотки; после этого, поплевав на руки, принимается чистить брюки и надевает фуражку с пригнутым лакированным козырьком. Все нынче так ходят — пригибают козырьки, чтобы они прилипали ко лбу.

— Реб Йося, быстрее! Я уж тут скоро подохну на дороге.

— Кто это? — спрашивает, приближаясь, Йося и валит на землю колесо.

— Пассажир.

— Еще и пассажиры на мою голову! — ворчит он, даже не взглянув на Бечека и не узнав, с кем говорит.

— Эх ты, старичина, это так-то встречают Бечека?!

— Ты Бечек?

— А кто же?

— Откуда же ты? — спрашивает Йося, приподнимая бревном ось, чтобы надеть на нее колесо. — Ведь говорили, что тебя уже давно черви съели.

— А ты хоть всплакнул по мне?

— Ну да! Меньше будет одним воришкой, — отвечает

Йося и вскидывает на Бечека свои маленькие глаза.— Чего это я вдруг стану плакать?

Нахмурившийся Бечек зло поглядывает, как Йося надевает колесо.

— А Исайка где? Он уже вернулся?

Но ответа он так и не дождался. Сплюнув, Бечек изо всех сил швыряет в повозку вещевой мешок. Вслед за Бечеком на гору хвороста взбираюсь и я.

Понатужившись, лошади трогают. Повозка теперь хро-мает. Добытое колесо выше остальных трех и все время визжит. Тихо шипит песок. Йося шагает сбоку. Одна пола у него подоткнута, кнут зажат под мышкой.

— Но, чтоб вам пропасть! — кричит он время от времени.

— Знаешь? — толкает меня Бечек и говорит, обращаясь, видимо, совсем не ко мне.— Я мог уже давно сгнить под каким-нибудь Гуляй-поле или Николаевом, и никто особенно не тосковал бы здесь по мне. Йося все так же погонял бы своих клячонок... А я вот хочу, чтоб тосковали... Чтобы болели, горевали по Бечеку!

Бечек кидает на меня такой взгляд, что мне становится жутко.

— Но ничего, Ошер! — Он подкладывает под голову свой вещевой мешок и закрывает глаза.— Мы еще покажем!..

И хоть я не пойму, почему он сейчас так рассвирепел и что собирается показать, я принимаюсь поглаживать его вещевой мешок, и мне очень хочется сказать ему, что я рад его приезду. Но почему-то я не могу сказать Бечеку, что он мне дорог. Как-то неудобно это.

— Помнишь тополи? — спрашиваю я его, хоть мне и нечего говорить об этих тополях.

— А? — не открывая глаз, переспрашивает Бечек.— Что?

— Тополи...

— Я страшно устал, Ошерка... Что ты говоришь? Тополи?

— Вырубили тополи.

И я принимаюсь ему рассказывать о тополях. Они росли по обеим сторонам дороги. Весной на них сидели вороны. Но выдалась холодная зима, и их вырубили. Потом я ему рассказываю всякие другие новости: о Велвеле Ходоркове, о Голде. Как Голда сделала меня предсе-

дателем товарищеского суда и что я должен быть примерным и ни с кем не драться.

Слушает ли меня Бечек? Я говорю, а он все молчит, не перебивает. Я хочу ему рассказать об Исайке, лучшим друге Бечека. Скажу ему об этом по секрету, на ухо, чтобы не услышал Йося. И вдруг замечаю, что Бечек спит. Видно, уж очень он утомился.

Натянув до отказа постромки, лошади еле тащут повозку. «Провидец» шагает сбоку, зажав под мышкой кнут, и все погоняет лошадок.

Уже показались первые домики. Издали, как видно из комсомольской ячейки, доносятся песни и какой-то веселый гам. Но здесь, на окраине местечка, только перекликаются собаки и квакают лягушки в прудах. Нескольких запоздавших коров, поднимая пыль, с мычаньем возвращаются домой. Я швыряю в них палки, отгоняю подальше, чтобы они не разбудили Бечека.

У базарной площади, где обычно молодежь проводит свои вечера и где бывает очень весело, Бечек просыпается. Вздрогнув, точно от холода, он удивленно оглядывается, точно не верит своим глазам. Лавки открыты, шоссе освещено, и по нему расхаживают парочки, лузгая семечки и беспрерывно хихикая.

— Бечек,— говорю я, прыгнув вместе с ним с повозки,— идем к нам ночевать! — Я знаю, что у Бечека никого в местечке нет.

— Нет, нет, иди! Не беспокойся! — отталкивает он меня и, отойдя чуть в сторону, прячется в тени.

Дойдя до своего дома, я оборачиваюсь и замечаю, что Бечек стоит все на том же месте. Вещевой мешок у него теперь за спиной. Бечек вертит головой из стороны в сторону, потом исчезает среди рундуков и базарных лавчонок.

ПРИЯТЕЛИ

Ну, чего бы тут, казалось, плакать, если вернулся с фронта Бечек? Но мама заливается слезами: много парней и девушек вернулось, но Ара уж не вернется никогда. Не может она себе представить, никак не умещается в голове, заявляет она, что ее Ара, которому теперь было бы восемнадцать лет, лежит в земле и не вернется.

С тех пор как он умер, мама мне покою не дает: она способна целый день бегать за мной со стаканом молока; в бешеную жару она обматывает мне шею пуховым платком. Стоит мне, однако, прикрикнуть, как она отступает. Я могу прийти хотя бы в полночь, родители не решаются и слова сказать мне. Впрочем, известно, что родители наши отстали и обязаны слушаться детей.

Даже отец относится ко мне почтительно. Он не прочь со мной и побеседовать, если я только расположен.

— Ах, Ошер,— сказал он мне как-то, когда мы лежали с ним в постели,— можешь ли ты понять такую радость: теперь совершенно некого бояться! Никакой сукин сын не плюнет тебе в лицо, не обидит!

И именно не со взрослыми, а со мной, с Зямой и даже с Булей любит он вести разговоры. Мама бранит его. Она хотела бы знать, что с ним такое стряслось. Понимает ли он, что он отец семейства?! Но отец называет ее бабой. И как только она уйдет из дому, опять и опять просит меня рассказать, что написано в моих книжках и что мы делаем в школе.

Школу открыли недавно. Когда над дверьми впервые прикрепляли вывеску, сбежалось все местечко. Голда выступила с речью, и мы кричали «ура». Наш сутулый учитель Муни даже всплакнул.

Голда теперь заведующая школой, она же и секретарь комсомольской ячейки. Голда говорит, что мы должны учиться, должны стать борцами и любить труд.

Мы подметаем шоссе, возим лес, месим глину для нашей школы, которую еще нужно достроить; выкармливаем кроликов, разбили при школе сад. Мы ставим спектакли и показываем, как Красная Армия разгромила белых и уничтожила контрреволюцию.

Недавно мы сочинили свою собственную, очень крепкую клятву: «Пусть я погибну, если свою жизнь поставлю выше жизни товарища». Каждый из нас дал такую клятву.

Работаем мы очень много — я всегда чем-то занят. Вставать приходится очень рано.

А сегодня я встал ради Бечека, когда было еще совсем темно.

Ночью лило как из ведра. В местечке по горло грязи. Мама заставляла меня надеть калоши, но я все же отправился в своих ботинках.



На базаре еще никого нет, лавки закрыты, крестьяне шествуют в церковь. К фонарю только что подошел бельмастый Юхим, он ждет первой милостыни.

На рундуке я увидел Бечека. Он весь извозился в пыли, на фуражке солома.

— Здравствуй, Бечек! — говорю я бодро.

Но Бечек чем-то обозлен. Он мычит в ответ и кивком показывает, чтобы я сел рядом.

— У вас здесь были пожары? — спрашивает он.

— Еще какие!

— Петлюра?

— Петлюра, — отвечаю я.

— Чтоб ему пропасть! — Бечек разглядывает пепелища, оставшиеся от двух рядов улиц, обводит глазами рундучки, ларьки, будки. — И опять лавки, Ошер?.. Нэпманы?! Ничего не переменялось!

— Нет, переменялось! — говорю я. Мне не нравится, что он так говорит о нашем местечке. — У нас есть профсоюз, есть комсомол! А наша школа? А Голда? А секретарь Ищенко?..

— Ах, так! — Он хлопает меня по плечу. — Ты прав! Надо зайти к ним. Голду я знаю. А Ищенко, видно, приезжий?

— Приезжий. Недавно прибыл.

— Хорошо! — говорит Бечек. Он, видимо, доволен. — Хорошо! — Но затем вновь хмурится. — Понимаешь? Не нравится мне, как разговаривают здесь со мной некоторые людишки. Встретят человека, который несколько лет провоевал на фронте, и говорят с ним так, как если бы он все эти годы орехи щелкал. Смотрят теми же глазами, какими глядели на него в день отъезда... Да и ты, Ошер, — говорит он неожиданно, — для меня все еще мальчик лет восьми, а тебе, наверно...

— Двенадцать, Бечек.

— Видишь?

— Бечек...

Я хочу ему объяснить, что к нему относятся подозрительно, потому что в свое время он дружил с Исайкой. А Исайка... Но я вовремя остановился.

— Что ты хотел сказать?

— Ничего... Насчет Исайки...

— Насчет Исайки? — Бечек оживает. — Где он? Почему его не видно?

Не успел я, однако, и рта раскрыть, как Бечек спрыгнул с прилавка.

— Здоров, Бечек! — говорит ему вывернувшийся из-за домов Исайка.

— Как поживаем, друг? — отвечает Бечек.

Они обнимаются, хлопают друг друга по плечу и смеются так громко, что из окон начинают высовываться головы. Однако, увидев Исайку, люди тотчас прячутся. Некоторые даже спешат закрыть свои лавчонки.

И я собираюсь уйти. Мама вышла на порог дома и делает мне знаки глазами. У меня даже сердце в груди заколотилось. Исайка показывается в местечке очень редко. Его давно разыскивают. Он был приговорен к расстрелу за убийство кассира райисполкома и милиционера, но бежал. Раз он появился, значит, и его банда здесь, и сегодня обязательно что-нибудь случится.

Исайка всегда был какой-то странный малый. В одно время с Бечеком ушел он в Красную Армию, но держался почему-то поблизости от местечка. Бывало, ворвется, убьет нескольких петлюровцев или увезет их с собой, наложит «контрибуцию» на буржуев и исчезнет.

Уже с полгода, как Исайка вернулся с фронта. Он прискакал верхом, вооруженный с ног до головы, в шикарной шинели и в сапогах со скрипом. Заехал прямо к своему отцу.

Первые дни его вовсе не было видно. Потом он появился в профсоюз, кричал, стучал револьвером об стол и требовал, чтобы ему дали хорошую работу.

Но что бы ему ни предлагали, он от всего отказывался. Ему предлагали место на мельнице, посылали на кожевенный завод, но он все кричал, что достаточно пролил крови и не хочет больше гнуть спину; требовал, чтобы ему дали работу «по финансовой части».

В конце концов Исайка вынужден был продать коня, стал пить, опустился, ходил оборванцем и, наконец, снова принялся извозчиковать вместе с отцом.

Его любимым занятием было шляться по ярмаркам. Свяжется ни с того ни с сего с каким-нибудь пьянчужкой там, искалечит его, избьет до полусмерти. Или торгует птицу у крестьянки, долго ощупывает курицу, дует на перо, потом как-то искусно прижмет ее, и та обдаст бедную крестьянку пометом с ног до головы. Однажды он привязал к хвосту лошади начальника милиции дохлую кошку. Рябов чуть не свернул себе шею — ведь его лошадь страшно боится дохлых кошек.

В последнее время к Исайке примкнули еще несколько головорезов, и они стали заниматься грабежами. У них это называется «взыскивать контрибуцию». Наш фининспектор лежит из-за них в больнице. А председателя профсоюза Мейлаха Полевого, который закрыл пекарню Гдальи за то, что тот не платил рабочим, Исайка поймал ночью, надел ему на голову мешок и привязал к фонарному столбу посреди базара.

И никак этого Исайку не удастся изловить. В местечке уже прибывали специальные отряды красноармейцев, но Исайка исчезал буквально из-под рук.

— Эй ты, — поддает он мне под подбородок, — что смотришь на меня, как собака на кошку?

— Я вовсе не смотрю, как собака на кошку, — отвечаю я.

Мне ужасно лестно, что со мной говорит такой великий бандит.

— Учишься? — Исайка выхватывает у меня учебники и принимается разглядывать географию. — Это у тебя грамматика? Хорошо! Замечательно! — И он усаживает меня рядом с собой. — Ученье — свет! Молодец, Ошер!

Я страшно рад. Мне бы хотелось, чтобы все видели, как я сижу рядом с самим Исайкой. У него такой молодцеватый вид! Мне очень нравится, как он каждую минуту подтягивает за уши свои сапоги гармошкой. На Исайке плисовые штаны, какие носят немецкие колонисты, коричневый вельветовый пиджак и плюшевая шапка, которую он постоянно заламывает набекрень так, что черный чуб вываливается наружу.

Бечек выглядит рядом с Исайкой довольно невзрачно. Особенно неприглядным делают Бечека его стоптанные солдатские башмаки и обмотки, выцветшая и залатанная красноармейская гимнастерка и измятая фураж-

ка. Бечек, видно, чувствует это. Он долго вглядывается в своего приятеля и хмурится.

— Что ж ты ходишь таким оборванцем, Бечек? — спрашивает Исайка и вновь хлопает его по плечу.

— Хорошо, что голова цела! — усмехается Бечек и, пожав плечами, оглядывается по сторонам.

С рундука, где мы сидим, видна вся базарная площадь. Она все еще пуста. Только Юхим с бельмом играет на лире. Где-то визжат поросята в мешке. Появляются босые бабы с кошелками. Какой-то старичок в лаптях стоит посреди базара и предлагает купить шкуру.

— Не понимаю, почему здесь такой пустырь? Такая грязь! — оживляется внезапно Бечек. — Я лежал в госпитале в Николаеве. Что за город! Посмотрел бы, какие там «кладки», они называются там тротуарами. А скверы! Если б у нас были настоящие люди, и здесь так можно было бы сделать.

— Да что там Николаев! Вот Киев — это да! Киевский банк!.. Черта с два у нас будут когда-нибудь такие дома! И какие лестницы!

— Ты что же, работал в банке?

— Даже на почте... Я работаю теперь по финансовой части.

— Ого, добился все-таки!

— Конечно! — кричит Исайка. — Кровь проливать, а потом быть у них извозчиком?!

Он поднимает кулак и грозит кому-то. Я не могу оторвать глаз от его руки с короткими пальцами. Я даже вижу там грязь под ногтями. Вот этой рукой он убивает людей!.. Но так он, в общем, не страшный.

А Исайка снова начинает смеяться. В его карих глазах появляется веселая искорка. Вот он увидел старого крестьянина, который продает телячью шкуру, и кричит ему:

— Эй, дед, что ты там продаешь?

Крестьянин, шлепая лаптями по грязи, тихонько подходит к рундуку.

— Шкуру продаю, — отвечает крестьянин.

— Фу-у! — морщится Исайка и берет товар двумя пальцами. — Разве это шкура?

— Зачем она тебе? — смеется Бечек.

— Нужна! — отвечает Исайка и становится, как все-

гда, когда собирается выкинуть фортель, очень серьезным. — Только я не знаю, шкура ли это?

— Люди добрые! — начинает креститься старик. — Это же шкура моего рябого бычка!..

— Почему же она хрустит? — Исайка нахлобучивает старику шапку на лоб. — Почему она хрустит?

Исайка мнет шкуру и принимается колотить ею об стену.

— Ссохлась она... Это моего рябого бычка!..

Вокруг собирается народ. Подходят какие-то совершенно незнакомые люди. Они хохочут. Один кричит, что это не шкура, а пузырь, другой — что это рядно, а извозчик Зайвель клянется, что это шкурка, но только кроличья.

Все хохочут. Смеюсь и я. Меня вообще очень легко рассмешить.

Однако я смотрю на Бечека, и смех застревает у меня в горле. Он спрыгнул с рундука. У него раздулись ноздри.

Растерявшийся крестьянин хватается за голову, он уже потерял шапку. А Исайка кричит ему все громче:

— Замочи ее!

— Зачем?

— Чтоб намокла! — Исайка бросает шкуру в лужу и затапывает ее ногами.

— Перестань! — пытается остановить его Бечек. — Перестань, Исайка! — И глаза его наливаются кровью. — Исайка!.. — повторяет он страшно тихо, но каким-то таким тоном, что все сразу перестают смеяться, и умолкают.

— Чего ему надо? — оборачивается к собравшимся Исайка. Он щупает рукою лоб Бечека. — У тебя жар? Чего тебе надо?

— Ничего мне не надо! — отталкивает он руку Исайки. — Над кем ты смеешься? — Затем он вытаскивает шкуру из лужи. Грязь заливает ему штаны, обмотки. — Над кем, я тебя спрашиваю?! — И лицо Бечека становится багровым.

Он подходит к Исайке так близко, что тот начинает пятиться, затем расстегивает пиджак и засовывает руки в карманы.

— На! — Он вынимает из кармана платочек и подает Бечеку. — На, оботрись!

Но все замечают у него на другой руке железный кистень, на который насажены гвозди.

— Драться?! — Бечек также засовывает руку в карман и усиленно ищет там что-то, а в другой руке он все еще держит набрякшую кожу.

Люди начинают отодвигаться подальше.

— Так, значит! — Бечек вытаскивает из кармана грязную тряпицу и обтирает ею мокрый лоб. — Хочешь драться?

— Да! — Исайка подходит к нему вплотную.

Кругом хохочут. В толпе начинают кричать, что Бечек трусил, что ему нужно переменить белье.

— Исайка, — говорит Бечек очень тихо, еле раскрывая рот. — Чего они раскудахтались? Заплати старику за шкуру, и давай лучше не будем ссориться!

— А я как раз хочу ссориться! — отвечает Исайка и заворачивает рукава. — И не помогайте мне никто! — расталкивает он сгрудившихся позади него местечковых поножовщиков.

— Значит, в самом деле драться!

— Дерись, падаль! — Сплюнув на руки, Исайка замахивается на Бечека кистенем.

Бечек ловко отскакивает в сторону, и Исайка попадает кистенем в стенку.

Тогда Бечек принимается вертеть тяжелой набрякшей кожей над головой и затем изо всей силы ударяет ею Исайку по лицу.

— Бейте его! — ревет вдруг Исайка, вытирая залепленные грязью глаза. — Насмерть бейте.

— Ратуйте! — закричал перепуганный базар.

— Пожар! — заорал кто-то.

И на пожарной каланче тотчас и в самом деле поднялась тревога. Густой медный звон колокола поплыл над местечком.

— Бей его!

Из толпы летит камень и разбивает стекло позади меня.

— Пойдите! — молит Бечек. — Здесь ребенок!

Он отбивается от набросившихся на него дружков Исайки и заслоняет меня. После одного удара он начинает шататься, сползает вниз и вытягивается у моих ног.

Перед глазами у меня мелькают дреколья, головы, окровавленное лицо Бечека. Но мне уже теперь все ни почем. Я тоже машу руками, в кого-то швыряю комья грязи, потом лежу на земле и отбиваюсь ногами.

Кто-то прижал меня. Я вскрикиваю от боли и вижу: Бечек заслоняет меня своею грудью. Но я ору еще больше. И долгий пронзительный визг сразу же отвечает мне откуда-то с базара, визг такой высокий и страшный, что я вздрагиваю и обхватываю Бечека обеими руками.

Через опустевший базар, раскинув руки, летит ко мне мама, маленькая, худая, с распущенными волосами.

Не переставая визжать, она лишь одно мгновение глядит на меня большими остановившимися глазами и вдруг кидается на Исайку, подпрыгивает, хватает его за волосы и царапает ему ногтями лицо.

Он сбивает ее с ног, но она вновь вскакивает и впиывается ему зубами в подбородок. Исайка обливается кровью. А мама уже не кричит, а шипит и все норовит выцарапать ему глаза.

Разбежавшиеся было вновь начинают собираться вокруг нас. Прибыли и пожарные с бочками.

Дерущиеся барахтаются в грязи, и уже не понять: кто кого бьет. Свистят палки, мелькают кулаки, летят камни.

Кому-то удалось вытащить маму из этого побоища, но она все кричит:

— Пустите меня! Не смейте меня держать! Я всем глаза выцарапаю!

— Мама! — кричу я и плачу. — Мама!

Только услышав мой голос, она утихает. Ее длинные седые волосы мокры и всклокочены. Но меня она теперь не отпускает ни на шаг. Прихрамывая, я ухожу вместе с ней. Рядом шагает Бечек. Мы идем в милицию. А за нами плетется целый хвост галдящих женщин, переругивающихся мужчин. Непонятно только, куда девался Исайка. Он точно сквозь землю провалился.

А пожарные, сидя верхом на лошадях, трезвонят в свои колокола и кричат:

— Ра-азойдись!

Я ВЫСТУПАЮ С РЕЧЬЮ

В тот же день, спустя немного после побоища, Исайка стрелял в Бечека и ранил его. Я помчался в больницу, но, увидев Бечека, расплакался и убежал.

Должен сказать, что, с тех пор как я подрался с Исайкой, вся школа меня уважает. А Голда, хотя и не ска-